

АНАТОЛІЙ БАЙБОРОДІН

СИБИРІАДА

Не родит
сокола сова



Сибиряда. Лауреаты премии им. В. Г. Распутина

Анатолий Байбородин

Не родит сокола сова (сборник)

«ВЕЧЕ»

2018

Байбородин А. Г.

Не родит сокола сова (сборник) / А. Г. Байбородин — «ВЕЧЕ», 2018 — (Сибиряда. Лауреаты премии им. В. Г. Распутина)

ISBN 978-5-4484-7545-0

В книгу сибирского писателя Анатолия Байбородина вошли роман «Поздний сын» и повесть «Не родит сокола сова». Роман посвящен истории забайкальского села середины XX века. Деревенский мальчик Ванюшка Андриевский попадает в жестокий водоворот отношений трех предшествующих поколений. Мальчика спасает от душевного надлома лишь то, что мир не без праведников, к которым тянется его неокрепшая душа. В повести «Не родит сокола сова» – история отца и сына, отверженных миром. Отец, охотник Сила, в конце XIX века изгнан миром суровых староверов-скрытников, таящихся в забайкальской тайге, а сын его Гоша Хуцан отвергнут миром сельских жителей середины XX века, во времена воинственного безбожия и коллективизации. Через церковные обряды и народные обычаи перед читателем вырисовывается сложная картина жизни народа на переломе эпох.

ISBN 978-5-4484-7545-0

© Байбородин А. Г., 2018

© ВЕЧЕ, 2018

Содержание

Поздний сын	6
Часть первая	8
I	8
II	9
III	12
IV	14
V	16
VI	18
VII	21
VIII	22
IX	24
X	27
Часть вторая	29
I	29
II	31
III	34
IV	37
V	40
VI	42
VII	45
VIII	46
IX	48
X	50
XI	53
XII	55
Часть третья	59
I	59
II	60
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Анатолий Григорьевич Байбородин

Не родит сокола сова

© Байбородин А.Г., 2018

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Сайт издательства www.veche.ru

* * *

Родителям, братьям и сестрам посвящаю

Поздний сын

А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.

Святой апостол Павел

С унылыми летами, скорбными морщинами Иваново детство, померкшее было в вечёрошней мгле, ласково, тихо вызревало и милостью Божией становилось ясным и проглядным. Гасло в памяти ближее, суетное, и утренней зарёй нарождалось дальнее...

Время калечит, время лечит... И через двадцать лет детское горе – сдали на убой оставшую любимую корову – уже не виделось Ивану таким горьким, каким вызрело в опечаленной малолетней душе, когда небо над деревней показалось с овчинку, а весь белый свет был не мил, когда вышептал сквозь стиснутые зубы все попреки отцу и матери и выплакал слёзы до самого донышка, словно промокшая до нитки, выжатая вётошка, валяясь в пустоте коровьей стойки, на пыльной трухе от прошлогоднего сена.

Наоборот, от той кручины, да и от всех горестей детства, обида давно уже отсохла, отшелушилась, и вместо неё, пробившись через двадцатилетний туман, в душу отрадными слезами проливался свет детства, даруя силы и право жить дальше. И не матери лишь, но и отцу, хоть и гонял его, непутевого, хотелось поклониться до самой земли; вернее, уже и не отцу, а глинистому бугорку под чахлой крученой берёзой, где навсегда успокоилось его измученное сердце. Прости ему, Господи, прегрешения волные и невольные...

И когда, словно в печную трубу, неприкрытую заслонкой, высвистело жар молодых лет, Иван не любил поминать эти запальчиво-грешные годы, хотя они против воли заплескивали студёной водой память и больно жгли – непосильно было от груза вины перед дальними и близкими. Так другой раз тяжёло, что вроде хоть в петлю суйся, но заповедной, бережной частью души Иван чувствовал, что не осмелится срезать до срока, до полного покаяния отпущенную жизнь, пока она сама не выгорит дотла, не отлетит к небу остатней голубоватой струйкой дыма.

В такие растерянные и пустые дни память жалобно тянула свои незримые, до времени остаревшие, зябкие руки к детству, – к нежаркому забайкальскому солнышку, повисшему над степью и озером ржаным караваем, – чтобы от малолетства, утешающего и жалеющего, словно мать, набраться силы жить дальше.

Не бог весть какие, а всё же силы являлись, но попутно приходил и стыд, – стыд за то, что хоть и божился, и сулился, да мало уберёг в душе детской жалости ко всякому ближнему и всему существу; словно детство, бедное, впустую не жило и холило Ивана, баюкало жарким полуднем в берёзовой тени, как в сказочной зыбке, подвешенной к вершинам деревьев и густо устланной цветами. Тут и петушки, игриво-синие, похожие на петушиные гребешки; и светлые степные ромашки; и незабудки, грустно притаённые в траве; и кукушкины чирочки, сиреневые, с капризно изогнутыми лепестками, – те самые чирочки, что роняет кукушка на лету, а другая примеряет; тут и курчавые саранки, за которыми азартно бегали деревенские мальчишки по степи; и колокольчики, синё и вкрадчиво звенящие на закате. Баюкая в поле, в лесу и в небе, детство шелестело на реденьком ветру листвою, цветами, травами, напевало с тихой любовью, печально вглядываясь в зрелые Ивановы лета.

Когда в утомлённую память являлось детство, то Ивану казалось, что, задыхаясь от жажды, усталый, сморённый, упал посреди раскалённой дороги жизни, в сухой и белёсой забайкальской степи; и мать из небесной глубины подаёт деревянный черпак, и он припадает к нему одеревеневшими от зноя, растресканными губами, и студёная вода с таинственным перезвоном проливается в душу, смывая тоскливую горечь.

Вспоминая детство, родову и деревню, Иван видел себя одиноким бурятом-кочевником, что кочует на смирном коне то жаркой степью, где в мигании алых саранок миражом плывет стадо коров, то березовой гривой, синей, сквозной по весне и утыканной вороньими гнездами, то качается в седле по-над озером, на песчаном берегу которого в счастливом полусне загорают ребятишки, то минует деревню, где его провожают долгими, жалостливыми взглядами старики и старухи. Кочует он, вечный скиталец, и поёт обо всем, что видит и слышит, о сызмала родном, что наплывает в его сиротливую, утомлённую душу; поёт, утешаясь и спасаясь пением от скуки и одиночества; поёт для себя и ради себя, поскольку станет ли человек, заполошно-бегущий к жизненному краю, не ведающий о вечной жизни, слушать его долгую песнь; и песнь – то горько-прозрачная, будто эхо детского плача, то задумчиво засинеет вечерним небом, то вдруг заплещется на солнце зеленоватой озёрной волной, сплетаясь с ребячьим смехом, то затянется преддождевым, глухим мороком, то повалит густым покровским снегом; и нету, нету его песне конца и края, есть лишь она, благословенная, уносимая ветром.

Ивану порой казалось, что он снова очутится в детстве, что взрослая жизнь – путанный, несчастный сон, от которого он солнечным зимним утром проснется парнишкой, побежит к ледяному озеру в мягоньких серых катанках, голосисто скрипя хрустким, иссиня белым снежком.

Но неужели мы лишь в детстве, даже с бедами его, и бываем воистину счастливы, или это нам, художникам, мерещится от растерянности перед жизнью, от испуга перед её тёмным краем?.. Неужели, как молитва Богу, лишь оно верно утешает наши печали, лишь оно, как свечка в лихорадочной пестроте и сумраке нашей взрослой жизни?.. Вопросал Иван у кого-то незримо витающего над головой; вопрошал, упершись горячим лбом в стекло, разглядывая из окна, как слезливо трепещут на ветру желтые листья высокого тополя и серая выпевает над городом ночь, как, видимо, к снегу опускается мутный затишек, и люди с детскими колясками, сетками, сумками, тяжело пробиваясь сквозь мглу, ползут мурашами, чтобы утаиться в свои тихие норы от медленно и грузно падающего на землю, морошного неба. У них тоже отпело, отзвенело детство, и не раструсилась ли память о нем на жизненном бегу?..

Иван был счастлив, когда не умом перебирал своё детство, а когда оно оживало в душе само по себе, заслоняя жизненную сутолоку; и вот уже, забыв себя нынешнего, усталого и равнодушного, бежишь знойным днём по родимой деревне, бежишь к озеру, едва касаясь голыми ступнями раскалённой земли, чтобы с разгону ухнуть в манящую озёрную прохладу; и выцветшее небо, и слитое с ним голубовато-зелёное озеро наполняют душу птичьей лёгкостью, и ты уже не бежишь, а летишь над этой благостной землей своего детства.

Часть первая

I

Густо и неколышимо висело над Сосново-Озёрском знойное марево, застывшее небо и солнце, будто с Дархитуйского хребта, где по весне горела тайга, натянуло дыма и, растекшись, серая мгла повисла над избами. Деревня, в народе прозываемая просто Сосновкой, спала, белесо и безжизненно посвечивая окнами; растянулась вдоль обмелевшего забайкальского озерища, приткнулась головой к заболоченной низине, развеяла хвост редких изб по степи и, как бы в сладком обмороке закатив глаза, вымерла. Лишь валялись у подворотен старые псы, похожие на смято брошенные у калиток, пыльные шубы, над которыми роем кружились мухи, гудом гудели пауты.

Сосновоозёрские ребятишки спасались у озера. Поскидав чиненные-перечиненные сатиновые шкеры¹ и линялые майки, уже вдоволь накупавшись, загорали на мелком песочке, подгребая его под грудь, и соловыми глазками смотрели, как, скучившись, бьются на плесе чайки, выхватывая мелких окушков и чебачков², как три мужика заводят коротенький невод-бродник, при этом гулко и другой раз матерно крича, перекрывая заполошные чаечьи вопли.

– Заводи-и, Лексе-ей... ей... заводи-и!.. – надсаживался с береговой отмели пожилой мужик Петр Краснобаев и, загребая воздух тряской рукой, показывал заводящим крылья бродника, где ловчее и добычливее протянуть.

Крик его катался по гладкой воде, долго не гас, а, как в парной бане, не dokonчив слова, с гулом вытягивался на протяжных звуках и так незавершенно тонул, а потом снова эхом всплывал наверх.

– Подле травы-ы!.. ёшь твою-у мнёшь!.. подле травы-ы-ы-ы тя-ни-и-и... Да ни-ижню-у-у-у... тетиву-у-у-у жми-и-и-и... жми-и-и-и ко дну-у-у-у... Упу-устишь ры-ыбу... Прижи-има-ай, прижима-ай... – отзывалось озерное эхо, будто сам озерник, здешний хозяйнушко, греющийся на мелководье бока, дразнил рыбаков. – Круче-е заво-ди-и-и-и... круче-е, Лексе-ей...!

– Тише, отец! – резко огрызнулся плечистый, еще не успевший загореть, белотелый парень. – Орешь, сам не знаш кого.

Зеленоватое Сосновское озеро томилось в покое – гладкое и ленивое, будто неживое или уснувшее вязким и душным сном, сомлев на палящем и растекшемся по небу солнце. Водную гладь не трогал даже обычно неумемный степной ветерок, и остекленелым миражом огрузло колыхалась угарная тишь, сквозь которую приглушенно пробивались рыбацьи крики и чаечьи стоны. При такой покойной воде рыба поднимается со дна, приваливает в берега поживиться мошкой, поиграть на теплых плесах; вот тут чайкам да рыбакам, которые бродят с загребистыми бродниками, самый улов, с лодки на донную удочку окунь еще не тянет – сыт мошкой по самые жабры. Недаром старики баят: июнь – на рыбу плюнь. Можно бы, конечно, щучек-шардошек добывать на рулетку³, приспособив под блесну надраенную песком ложку, но мужики почитали рулетку за баловство, стеснялись с ней заниматься и, если нельзя было добыть удой, брались за сетешки и бродники – это всегда фартово, почти без промаха, хотя и рискованно, не угодить бы рыбохране в лапы.

Пахло преющей на солнце береговой тиной, выброшенными шалой волной на песок водорослями, которые потеряли свой изумрудный окрас, и, вылинявшие добела, сухо трещали под

¹ Шкеры – летние штаны из тонкой ткани.

² Чебак – рыба сорога.

³ Рулетка – самодельный спиннинг.

ногами; пахло теплой плесенью и от самой воды, застоявшейся, возле берега потянутой жирно-зеленой пеленой. Все эти озерные запахи были привычны ребятам, как родные избытые, где они с азартом улавливали рыбный дух. Подле берега тучами висела мошка, и у парнишек, загорающих на песке, от нее рябило в глазах, трудно было смотреть не моргая, – наворачивались слезы. Это время мошки. А когда она, перезрелая, в начале июля опадет на воду, вычернит собой широкие забереги, – и рыба потянет на удочку, тогда уж ребяташек с песка, точно корова языком слизнет, тогда они, всякими правдами-неправдами, со слезами, со скандалами напросившись в лодки к парням и мужикам или самовольно спихнув на воду какой-нибудь старенький батик⁴, начнут удить окуней.

Но пока еще рыбалка мало волновала парнишек – не приспел ее срок, пока они загорали, пересыпая из ладошки в ладошку пыльный, седой песок, – неспешное текло вместе с песком в вечность счастливое времечко – и почти невидяще смотрели на рыбаков с бродником, чьи очертания колебались и растекались в мираже, смотрели на чаек, на скучное июньское озеро, вяло переговариваясь, теряя тонкую, песчаная струйку разговора, лениво подмечая едва текущую возле них жизнь. Они вроде спали с открытыми глазами, глядя на озеро сквозь нависшие ресницы, как через сухую степную траву; спали, не видя снов. И хотя многие, торчащие здесь спозаранку, уже промялись, хотели есть, но все равно лежали, не чуя в себе той силы, какая подняла бы с песка их обмякшие, дочерна прожаренные тела.

Приятно в такой зной говорить о чем-нибудь прохладном, и Пашка Сёмкин вздохнул:

– Мороженого бы сейчас поесть... Вот бы браво...

Все молча согласились, лизнув обметанные сухостью губы, хотя никто из лежащих не то что пробовать, а и в глаза-то не видел это мороженое, да и знали о нем понаслышке.

– Я бы полкуля этого мороженного умял за один присест, – раздухарился Пашка.

– Чума огородня!.. – покосился на него Кешка Шлыков – по-деревенски Маркен, низенький, но для своих восьми лет дивно широкий, плечистый, словно приплюснутый мужичок, и уж такой рыжий, что издали казалось, будто волосы его занялись буйным полымем. – Кто же тебе будет морожено в кулях держать?! Дура... Оно же потекет на жару...

– А в чем оно? – скандально прищурился на него Пашка.

– В чем?.. Ха-ха... – Маркен повел глазами вдоль озера, придумывая на ходу во что затаривают мороженое. – В кадушках оно деревянных. Понял, чуня...

– Ой!.. – по-девчоночьи всплеснул руками меньшей Пашкин брат Саня, прозванный Сохатым, хотя мало походил на могучего таежного лоса-сохатого; прозвище, как часто бывало, родилось от имени: Саша, Саха... Сохатый. – Я бы, робя, однако, цельну кадушку слопал, не поморщился.

– Слипнется, – смерив его, заморыша, презрительным взглядом, упредил Маркен, и Сохатый обиженно отвернулся.

– Не-е, счас бы, паря, на коне поскакать... наметом, чтоб ветерок обдувал... – припомнил Радна более знакомое ребяташкам, чем мороженое, приносящее явственное ощущение прохлады; все молча согласились, и разговор спекся, свернулся на жару.

Так замедленно, сморенно катились душные полуденные минуты, часы. Надо было снова искупаться, но и для этого пока не хватало сил, все силы и желания давно уже испарились вместе с потом в накаленном воздухе.

II

Искупавшись, разбуженный озерной прохладой, живее других заговорил Пашка Сёмкин, сухой, остроносенький парнишка, с немного косоватыми, темными, круглыми глазами и все-

⁴ Батик (бат, бот) – плоскодонная маленькая лодка, может быть, и долбленная из матерой сосны.

гда влажным ртом, отчего казалось, слова быстрее обычного соскользили с его крупных для узенького лица, девчоночьих губ. Говорил он в нос, за что его дразнили то гундосым, то сопатым: дескать, слова в носу застревают, а когда молчит, то сопит. По виду Пашке можно было дать лет десять, но на самом деле ему вот-вот стукнуло семь.

Когда он затараторил, ребяташки или вполуха слушали его, по-прежнему утопая в сонном бездумье, изредка, без большой охоты и часто невпопад вплетаясь в разговор, или вовсе не слушали.

Все жарче и жарче распаяясь, встав перед ребятами на колени, помогая рассказу костлявыми руками, Пашка для пушего правдоподобия пучил и без того округлые, навывкате, нервно блестящие глаза. Сейчас он вспоминал прошлогоднюю рыбалку... Будто удили они с батяней на другом берегу Сосновского озера... – тут ребяташки сразу же прикинули: врёт, поди, как сивый мерин, потому что батяня его уже давно беспробудно пил горькую, чаще всего рыбака возле магазина и чайной, а Пашку по малости лет редко брали в лодку чужие люди. И будто бы здорово так клевало, что едва успевали червей наживлять да удочки кидать. Окунь прямо на лету хватал, только крючок упал на воду – хоп, готово, заглотил. Отец, дескать, даже закурить не мог – некогда было, отчего у него уши опухли. Кончились черви, стали удить на окуневые глаза, на чебачье мясо, и окунь-то вроде все как на подбор шел такой хрушкой⁵, что даже крючки обламывал, хотя отец их закаливал. И ладно что в фуражку про запас крючки наткал, а то и удить было бы нечем.

– И вдруг, робя!.. – тут Пашка начал вращать глазами, пуше косить ими, чтобы нагнать на ребят побольше страха, – и вдруг с неба спускаются крючки... здоровенны таки, с кулак... На людей крючки, понял. Жилка там, робя, от такуца! С веревку толщиной. А не видать – прозрачная. Это я пригляделся, дак и увидал. А на крючках-то, мамочки родны, всяки наживки висят... На людей, понял. Вот это да!.. Яблоки... красные-красные такие, пряники еще и это самое... как его?.. ну, это... морожено, во... в стаканчиках... ну, которые хрустят еще... Я их в городе пробовал, когда с мамкой ездили.

Ребятишки опять не поверили Пашкиным словам, потому что слыхом не слыхивали, когда это Пашка успел в город скатать.

А из мороженого, из яблок чуть-чуть видно крючки с зазубринками. Они... – кто эти «они», Пашка по ходу не сообразил как назвать и потому говорил без пояснений, – они, падла, на туче сидят – как раз заморочало – а в просветы, как в проруби, удочки опустили. Людей ловят, понял. Мы окуней удим, а они нас... с неба... – Пашка, вылупив круглые зенки, испуганно обмер, но потом облегченно вздохнул.

Хорошо хоть не клюнул, а то бы...

– Паха, Паха, погоди, погоди! – прервал его Маркен. – Язык покажи.

– Зачем? – насторожился Пашка.

– Да не бойсь ты, не бойсь. Покажи.

– Ну... – Пашка вывалил язык.

– О! Точно, язык-то, Пашка, у тебя без костей – не сотрется, можешь до утра заливать.

– Не веришь?! Не веришь?! – накинулся на него парнишка, потому что Маркен, зевнув, отвернулся к озеру. – Но и не надо, понял!

– Ты меня на «понял» не бери, понял, я за «понял» десять лет сидел, понял, – подразнил Пашку Маркен.

– Да у бати спроси, понял. Спроси, спроси, ежлив не веришь.

– Ха-ха, у бати спроси. Батя твой уже возле магазина спит.

– Я сюда шел, видел его, – возле винополки лежит, – подтвердил Минька Баньщиков, приходящий сюда с дальней улицы.

⁵ Хрушкой – крупный.

– А тебе чо?! – полез на него Пашка.

– Ладно, робя, не мешай, – сердито вмешался Раднаха Будаев, – пусть рассказывает, чего вы?! Ну и что дальше?

– Папка-то сперва зарыбачился, никого кругом не видит, – сразу же успокоившись, дальше замолотил языком Пашка, – а я-то, паря, с ходу заметил. Они же, ну эти наживки-то – яблоки, морожено – близенько от меня висят, рукой можно достать...

Чем дальше Пашка ведал, тем, похоже, настырнее вера во все это крепла в нем, и теперь он мог до хрипоты спорить, отстаивая право на увиденное, если бы нашелся Фома неверующий, но никто после Маркена не лез спорить, хотя слушали уже с полным вниманием, с интересом.

– Ну и чо, Косой, не клюнул? – когда благополучно окончилась история, спросил Маркен и повернул к Пашке свое плоское, в ржавом крапе веснушек, сонливое лицо с мелким, задиристо вздернутым носом. – Взял бы и цопнул.

– Н-н-но, ага! – форсисто подбоченился Пашка. – Я те чо, дурак.

– А кто же больше?

– Клюй сам, еслив охота. Я же вижу, крючки... Клюнул бы, ага. Сам клюй.

– Но-но, потише, сопатый! – процедил сквозь зубы Маркен. – А то клюну разок промеж рог, и закатисься.

Пашка буркнул невнятно, отквасил обиженные губы, но, хоть и считался отбойным, в драку лезть побоялся.

– А здорово, робя, а! – восторг, еще не улегшийся в нем, опять взнялся и захлестнул собой обиду. – Вот такие яблочищи висят! – он показал в жадно растопыренных ладонях что-то огрузлое, увесистое, напоминающее пудовую гирию. – И крас-с... – он стиснул зубы до скрипа, прижмурился и замотал головой в сладком изнеможении, – с-с-ные-прикрас-ные – так и охота кунуть – аж сок капат. Я уж хотел...

– Хотел, да вспотел, – значительно усмехнулся Минька Баныщиков, который уже зиму отбегал в школу и, по слухам, прочел в школьной библиотеке все книжки.

– Вот это да-а, – невольно поверив такому диву, изумленно протянул Радна и покачал головой.

– Свистит Косой, – сказал ему Маркен. – Ты, Пашка, врать-то у кого подучился, у Ваньки Краснобаева? Тот же мастак байки заливать... А где Ванька-то? Чо-то, робя, не видать.

– А-а-а, – махнул рукой Пашка, – не верите и не надо, – он тут же отвернулся, окончательно обиженный.

– Это он у Ваньки Краснобаева в альбоме увидел, вот и треплет, – особо для Маркена подал разоблачающий голос Сохатый, который как две капли воды походил на Пашку – брата-погодка: такой же сухонький, остренький, смуглый, с психоватыми, цыганистыми глазами. – Ванюха намалевал красками и нам показал. У его полно картинок... Он же нам казал: рыбаки на туче сидят – с рогами, с хвостами – и людей удят.

– Не ври, Сохатый! Не ври!.. Вруша по воду ходил, в решете воду носил!.. – заглушил голос брата Пашка и, похоже, даже себе не мог теперь сознаться как на духу, что и в самом деле видел такую картинку, намалеванную дружкой Ванюшкой Краснобаевым, и что картинка эта приبلудила в память с белесого неба, когда он, подложив руки под затылок, лежал после купанья и смотрел, как вяло растягивалось серое облачко, точно расплзалась по полу лужица простокваши.

– Сам, Косой, не ври, вот-ка. Мне же Ванюха показывал... – тянул свое Сохатый, вопрошающе косясь на Маркена, и, видимо, готов был из кожи вылезти вон, лишь бы угодить ему, самому сильному и отбойному среди ребятни, для чего не жалел и родного братку.

– Ты лучше заткнись и не подсевай, подсевала! – Пашка сунул ему под нос небольшой, крепенький кулачок, смекнув, перед кем братка сейчас выслуживается. – Нюхал, Сохатина?!

– А ты Косой, Косыга! – огрызнулся Сохатый, елозя задом на песке и эдаким макаротом отодвигаясь от своего горячего брата, подбираясь поближе к Маркену. – Счас, счас Ванюха придет, спросим.

– Ты на кого рыпашься?! – Пашка заузил на него обозленные глаза и стал грозно вздыматься с песка. – Давно не получал, да? Хошь?.. Дам по сопатке.

– Однахам, Раднахам, будет драхам, – на бурятский манер ломая язык, изумленно протянул Радна.

Все немного посмеялись над привычной перепалкой братьев Сёмкиных, которые и грызлись как собаки, но друг без друга и часа прожить не могли, младший так и волочился тенью за старшим. Но на сей раз братья не сцепились всерьез, и ребяташки, отсмеявшись, стали все азартнее и азартнее воображать, на что бы они сами клюнули, спустись вдруг с неба всякие сладкие наживки. Кому-то зримо являлись из озерного миража ломти, истекающего прохладной, розово-сладкой водой, ноздреватого арбуза, кому-то повисал у самого носа шоколад, и только Маркен, как самый хитромудрый, всех обогнал своей блажью:

– А мне так, робя, спустились бы заправдашние брюки с ремешком и сапожки, – вот это бы да-а-а.

– Лучше бы уж сразу скатерть-самобранка спустилась, – засмеялся начитанный Минька.

– А мне бы еще ружье... карабин охотничий, – вздохнул Радна.

– Чо там всякие яблоки да арбузы – снямкал и нету, – степенно рассудил Маркен, сел на песок и, закидывая руки за плечи, стал потирать незагорелые, но докрасна накалинные, веснушчатые лопатки. – Вот бы брючки, как я в городе в магазине видел, от с такими карманами, – он показал на своих запорошенных песком, черных трусах воображаемые косые карманы, – да чтоб стрелочки были. Эх!.. В городе-то их полно в магазинах.

Все с завистью посмотрели на него – из всей братвы он да Минька Банычиков, вроде, уже бывали в городе.

– Да, брючки бы хорошо, – подтянул Радна.

III

О штанах, чтобы с ремнем и навыпуск, в пятидесятые годы помышляли все сосновоозёрские ребяташки. Втемяшилась блажь в голову, что и колом ее оттуда не вышибить. Но то ли город был далековато – триста пыльных, ухабистых верст сквозь томительно-желтые бурятские степи, сквозь глухие леса, – а в своем сельповском магазине шаром покати, то ли бедовали, еще не одыбав после войны, то ли еще почему, но кроили матери ребяташкам далембовые⁶ и сатиновые шкеры и шили, даже не утруждая себя карманами. А парнишке без карманов сплошная беда: куда сунуть рогатку на воробьев-жидиков, куда спрятать медный пугач, дымно бабахающий спичечными головками, или старинную монету для игры в чеканку на медные копейки, куда пихнуть зоску – кружок бараньей шкуры с прикрученной к нему свинчаткой – которую ребяташки подбрасывают ногой вверх – кто больше выбьет, куда рассовать это и другое богатство, если ты кругом без карманов?! Некуда, только и остается по летнему времени набить все в майку, чтобы медные пугачи, зоски и монеты для «чеканки» болтались там, бренчали и больно колотили в пузочко, когда дашь стрекача по широкой улице. Матерей же это, конечно, нисколько не волновало, – мало того, зная, для чего потребны ребяташкам эти карманы, они бы зашили и те, какие бы вдруг оказались на магазинных брюках, чтобы лишний раз не чинить их. Иные матери, не говоря уж о карманах, такие бывало штаны сошьют на скорую руку, что лишь из подворотни в них и выглядывать – одна гача или длинней другой, или шире.

⁶ Далемба – плотная ткань.

Вот и пылила мелкотня в бескарманных штанах-шкерах, поддерживая их одной рукой на пузе, – как бы не упали посреди улицы, – вот и носилась по своим бесчисленным делам, заправив в шкеры линейные майки, босиком, только пятки сверкали в рыжей пыли, едва касаясь дороги.

* * *

– А Ванюхе Краснобаеву брат привез из города заправдашные брюки, – вспомнил Сохатый. – Он нам с Пахой еще вчера говорил.

– Да ну-у, – скоротился Маркен, – трепет, а вы уши развесили. Привезут ему, ага, дождись... А у меня-то есть... – он сказал это не твердо, и никто не поверил, хотя и сомнения никто не высказал, – с Маркеном шутки худы, долго чикаться не будет, заедет в ухо, и закатишься, забудешь как спорить. – Мамка пока одевать не дает, – Маркен лениво зевнул. – Говорит, в школу в их пойдешь.

Пашка же, запаливший такой азартный разговор, вдруг неожиданно ярко и больно, как вспышку огня у самых глаз, вообразил, что он уже клюнул на крючок, наживленный краснобоким, обманчивым яблоком, – у Ванюшки, вспомнил он, так и нарисовано было, – и его... его... Пашку Сёмкина!.. живого!.. уже потащили наверх тамошние рогатые и хвостатые удильщики, и он кричит лихоматом, как в страшном сне, дергается обессиленным в страхе телом – как дрыгают, отчаянно плещут хвостами пойманные окуньки, только крику ихнего не слышать, – и от одного такого видения Пашка тряхнулся в ознобе, по коже быстро и колко пробежали мелкие, студеные мураши, вроде даже подняв своим холодом, замершим у корней, Пашкины волосы. Он еще раз зябко передернул плечами, хотя с неба все так же пекло, а снизу калило от песка, и сам для себя прошептал:

– А еслив за губу поймают?..

Радна, уже присмотревший себе спущенный с неба карабин, Маркен, увидевший себя со стороны в форсистых брюках, разом замерли и уставились на Пашку. Притихли и другие ребята, пристальней вглядываясь в бродничавших мужиков.

Те уже затягивали бродник по новой, – первый улов, под завязку набитый в крапивный куль, торчал на сочно зеленой, приозерной мураве, – и чайки пуще закрутились возле рыбаков, испестрили небо белым, мельтешащим крапом и теперь хлестались об озеро сразу за мотнёй, выхватывая мелких окушков и чебачков, избежавших западни, ускользнувших сквозь нитяные ячеи. Чайки куражливо голосили, вырывая друг у друга пойманную рыбешку.

Ребята глазели на рыбаков, на чаечий рой почти невидяще; по-прежнему изредко и незначительно переговариваясь, они рыли песок и залегали в прохладные ямины или, блаженно закатывая глазки, сводя их к переносице, сдирали прозрачные лохмотки кожи с лупящихся нежно-розовых носов. Не обгорали носы только у лежащих тут же на песке бурятят, – видно, кожа дубленая.

– Мамка рыжа, папка рыжий, рыжий я и сам! – вдруг во всю глотку загорланил Маркен, и все засмеялись, глядя на его пышущие жаром, кудреватые вихры. – Вся семья у нас покрыта рыжим волосам!.. Искупнуться, что ли?.. – опять заскучав, протяжно спросил он, вроде бы, самого себя, потом склонил голову, прислушался, но, не дождавшись ясного ответа, зевнул во весь крупный, шербатый рот, лег на спину, разбросав по песку короткие, сильные руки, сморенно прикрыв глаза; потом вялым, расхлябанным голосом не то запел, не то замурлыкал себе под нос:

Сижу на нарах, как король не именинах,
И пачку «Севера» мечтаю получить.
А мне стучат в окно,

А мне уж все равно,
Уж никого я не сумею полюбить...

IV

Маркен, задремавший было, вдруг почувствовал, что ребятня зашевелилась на песке, открыл глаза и увидел, как по некрутому спуску, вроде бы, и важно, но в то же время боком, стеснительно шел Ванюшка Краснобаев, – не по-деревенски толстый, осадистый, за что его все кому не лень дразнили на разные лады.

Ванюшка не бежал к озеру, сломя голову, чтобы, скинув по дороге одежонку, с разгона залететь в озеро и, высоко задирая колени, поднимая белый хвост брызг, упасть на глубине, забултыхаться, споласкивая с себя пыль и остужая распаренное тело; нет, он спускался тихо, раздумчиво и мелко переставляя ноги, будто на них были волосяные путы, отчего казалось, словно что-то мешает ему идти. Сойдя с приозерного угорыша, он нерешительно приостановился, оглядываясь назад и, вроде бы, стесняясь смотреть на ребят, которые уже не сводили с него удивленных взглядов.

Загорающим сразу кинулись в глаза прилизанные на лобастой голове волосы, – другие-то головы годом да родом, по великим праздничкам встречали гребень или расческу, да и на кой леший они нужны, если матери, не глядя на ребячьи слезы, не слушая мольбы, силком усаживали своих чадушек на лавки и стригли ручной машинкой налысо. И лишь тем, кто уже бежал в школу, сжалившись, оставляли на лбу крохотный чупрынычок, эдакую нашлапчатку с телячий язык, да и то лишь зимой, по теплу же смахивали и ее.

Отметив зачесанный набок жиденский Ванюшкин чуб, потом – беленькую рубашонку, глаза ребятшек спустились ниже и там пораженно замерли: на Ванюшке чуждо всей обычности летнего дня с его зноем, с его измучившими людей и скот мухами и пауками, чуждо белесому, прокаленному песку и зеленоватому озеру, чуждо, выгоревшему на солнце, линялому небу чернели и нарядно взблескивали мелкими искрами новые, будто прямо с прилавка, настоящие брюки. С ремешком, навывпуск, с твердыми отворотами внизу, точно такие, о каких полчаса назад помышлял Маркен.

Легко на помине Ванюшка, много лет ему жить, потому что разговор о нем, о его брюках еще не уплыл в небо, где копитя даже самая пустяковая болтовня; разговор еще витал над ребяташками, как и картинка про хвостатых и рогатых удильщиков, которую Пашка Сёмкин, вроде бы, видел своими глазами.

Когда Ванюшка подошел ближе, ребяташки стали смотреть на брюки со жгучей завистью, и так они напористо смотрели, словно задумали проверить на гачах множество дымящихся дырок, испортить обновку, чтобы не тревожила глаза.

– Ух ты-ы, какие ловкатские штаны, – поцокал языком Базырка Будаев, младший брат Радны, который до этого поочередно скреб то свой медно-желтый, круглый живот, то – песок, вырывая в нем сырую яму, чтобы залечь в нее, а сверху засыпаться по самую шею.

– Новехоньки.! – выдохнул Сохатый, подбирая распушенные в удивлении губы. – Не обноски.

– Ишь ты, как жало, порезаться можно, – первым очнулся Радна и, сузив навечно прищуренные глаза, провел вздрагивающим пальцем по стрелке, прочертившей гачу; провел, как по лезвию острого топора.

– Но-ка, но-ка, дай-ка я, – полез к брюкам Базырка.

– Нос сперва утри! – отпихнул его локтем Радна.

– Сам-то! – Базырка надул вспухшие, трубкой вытянутые губы, чуть ли не подпирающие мелкий бурятский нос, хотел было захныкать, а когда не получилось, стал дразнить брата. – Раднашка, Раднашка, пузо – деревяшка!.. Раднашка...

Радна не вытерпел, замахнулся не то чтобы навернуть вредного брата, а хотя бы отшугнуть от себя, и Базырка, не пытая больше ветреной судьбы, побурчал себе под нос и угомонился.

Ребятишки тем временем всюду шупали брюки; братья Сёмкины совали прыткие руки в карманы и шуровали там почем зря, щекотали Ванюшкины ноги, а Сохатый даже умудрился разок ущипнуть. Радна похрустел неразмятым ремешком и щелкнул ногтем по медной бляшке, такой желто лучистой, что больно было глядеть. И лишь Маркен полеживал в сторонке, едва приметно косясь на ребячий гомон безразличными глазами, в которых всё же нет-нет да и коротко взблескивала зависть и вспыхивали зеленоватые рысьи огоньки, но тут же гасли, прятались под мягко опущенными ресницами. Даже у него, самого старшего среди этих, как он их обзывал, голопузых гальянов⁷, еще и в помине не было таких брюк, и, как всем, приходилось зиму и лето носиться в тех же пузырячатых шкерах, поддергивая их непрерывно или завязывая новым узлом быстро слабеющую резинку. И жили-то Шлыковы побогаче многих в Сосново-Озёрске, а уж Краснобаевым-то гоняться да гоняться за ними, но брюк Маркену все равно не брали. «Лишняя роскошь, баловство, – считал Маркенов отец, тракторист Дмитрий Шлыков. – Еще не заработал».

– Чего лыбишься, как сайка на прилавке, Жирняк, – скосоротился Маркен, как бы отбрасывая от себя смущенный, извиняющийся Ванюшкин взгляд. – Гляди, довыбращаешься, выражуля.

– Выражуля номер пять, разреши по морде дать, – подхватил тут же Сохатый.

– Стырил, поди, – прикинул Маркен.

– Никого не стырил, – хмурым и уже подрагивающим в недобром предчувствии, слезливым голосом отозвался Ванюшка. – Братка из города привез.

– Обновить надо...

Ванюшка подошел к воде. В реденьком камыше плавилась мелкая сорожка, выплескиваясь на воздух серебристыми струйками, пуская от себя волнующие глаз рыбака азартные круги; и вода на отмели бурлила, пучилась и сорно мутнела. Сорожка прибилась в берега покормиться мошкой, а и на нее саму, игривую, – сразу же увидел Ванюшка – уже распазилась широкая зубастая пасть: нет-нет да и в погоне за сорожкой хлестала по воде мощным хвостом, добела взбурунивала муть, разрезала темной молнией щука-шардошка. Долго потом качался потревоженный камыш, немой свидетель быстрой расправы, долго и пораженно мотал из стороны в сторону бурыми, долгими головками, потом таился, обмирая в испуге, но тут же опять знобко передергивался и нервно дрожал. А и на дикую шардошку, пугающую и пожирающую мелочь, налажена управа – уже заведены рыбаками крепко-ячеистые крылья бродника, для нее, вольной и яростной, отпахнулось тугое горло мотни, в охоте за ней, мористее бродничавших, какой-то мужик проверял сети, которые, видимо, ставил на ночь, когда рыба уходит почивать в тайные, глубокие воды, в свои сумрачные, травянистые зыбки. Но сейчас миражом стояла такая сонная божья благодать, что Ванюшке, глядющему, как выпрыгивает из воды сорожка, с трудом верилось, что среди камышей и подводной травы разгорались смертельные догоняшки, что где-то с жестким щелком откидывалась челюсть и жалкая мелочь, успев, не успев поживиться мошкой, летела прямо в ненаедную щучью глотку, как не поверилось бы – тем и счастливы в детстве – что и в мире земном идет путаная, яростно-торопливая человечья жизнь, и, похожая на щучью, только незримая и непостижимая, неустанно работает жующая и глотающая челюсть и что человек, может быть, не последний в ряду охоты; может быть, и на него, уже гоняюще-

⁷ Гальян – самая мелкая рыба.

гося не столько за прокормом, сколько за мертвой, на пагубу измышленной, не имеющей ни конца ни края роскошью, распахнуты крылья невидимо заведенного по земле, приманчивого бродника, завлекая чем дальше от детства, тем все глубже и глубже в мешок мотни, выбраться из которой уже редко кому под силу. Как щука слепнет в жадной погоне за сорожкой мелочью и угадывает прямехонько в мотню, так порой и на земле, в человеческой жизни. Но щуку-зубатку можно понять и простить – голод не тетка, да и больше живота ей не съесть, – так уж у всякой твари земной в заводе, но человек-то за что страдает и бьется, до срока стареет и умирает, миллионами убивает друг друга, если прокорма ему на земле отпущено куда сверх живота?! Или уж опять повинна все та же изнуряющая, убивающая самого человека и все живое вокруг безумная и бездушная погоня за мертвой роскошью? Господь знает, нам ли себя судить.

Конечно, и Ванюшке, и ребятам, распластанным на песке, еще рано было терзаться такими загадами, – это маячило впереди, – но они, еще не во взрослой мере, все же вставляли перед ними, вносили раздор и разлад, благо, что все это было пока еще неглубоким, несерьезным, смахивающим на игру во взрослых.

V

Садиться, а тем более раздеваться Ванюшка не стал, – брюки пачкать, а потом еще неизвестно, как их ребяшня обновит, пока он будет купаться; кинул по воде плоский голыш, «съев наудачу четыре блина», – камешек четырежды подпрыгнул над озером, и стал приглядывать другой. Не найдя подходящего, собрался уходить.

Если сначала приласкали, потешили завистливые взгляды, исшарившие вдоль и поперек, порадовало, что никто, кроме Маркена, не обозвал Жирняком, то вскоре начал томить негаданный стыд, – отчего у него есть брюки, а у ребят нету, и чем он лучше их; потом явился страх: шатко и боязно стоялось на том возвышении, куда его вознесли ребячьи взгляды, будто он с помощью неведомой силы очутился на вершине тонкой и высокой березы, с которой, неровен час, упадешь или она сама треснет, обломится. К тому же ребята стали глядеть с подозрением, точно брюки на нем не по праву. Стало тесно и жарко в них – и зачем он надел их, париться?! Ишь, пофорсить захотелось, похвастать перед ребятами, – и жарко не столько от палящего солнца, сколько от напористых, завистливых взглядов. И тут же пришло охлаждение.

Он уже решил повернуть назад к деревне, как вдруг услышал Пашкин взвизг:

– Ванька, берегись!

И тут же со всего маха полетел в озеро, и крик его, не успев вырваться наружу, загнанный приторно-теплой, напористой водой, пролился в грудь, а далекие синие горы, озерная зелень пошли кругом и смеркли. Упал, вскочил, с разгона пробежал еще глубже, ловясь руками за воду, пока не обнял ее, родимую, распластавшись во весь рост. Чертыхаясь и плача, встал на ноги среди камышей, где еще недавно щука, зубасто ухмыляясь, пронзая воду стылым и недвижным взглядом, высматривала поживу, а потом бросалась, гоняла по траве и глотала игривую, теперь же одуревшую и ослепшую от страха сорожку мелочь; она и сейчас веером серебристых капель брызнула из-под Ванюшкиных ног.

В спину пригоршней мелкой гальки хлестнул смех, но Ванюшка, не оборачиваясь на него, еще не опомнившись, кашлял, выплевывая затхлую воду. Глаза от натуги налились кровью, голова закружилась, распертая угарным гулом. Рыбаки, которые бродничали уже подальше, стали было вслушиваться в гомон на берегу, но, ничего не поняв, опять согнули спины и, крепче взявшись за палки, потянули бродник дальше.

Опамятав, но еще плохо соображая, Ванюшка медленно, загнанной зверушкой, повернулся к ребятам, смотрящим в разные стороны, не зная, как и относиться к случившемуся. Ближе всех, подбоченясь, руки в боки, стоял Маркен – низенький, задиристый мужичок, и в зелено играющих глазах его купалась, плавала, точно в масле, сытая усмешка. Ванюшка

сметнул, что это он рысью подкрался сзади и одновременно с Пашкиным окриком толкнул в спину. Несмотря на вскипевшую слезами обиду, шмурыгая носом и всхлипывая, Ванюшка мучительно гадал: что же теперь делать-то?.. что же делать-то, а?.. и смотрел на брюки, промокшие до нитки, в глинистых разводах, с прилипшей жирно-зеленой тиной.

Драться на кулаках он был не мастак, да и боялся всякой драки и даже при большом усилии не мог представить, как бы он ударил в человеческое лицо, если даже муху поганую не мог смело пришибить. Да и какая может быть драка с Маркеном, если его и ребята постарше трусили. Парень рос оторви да брось, не успевал, как сокрушались взрослые, синяки снашивать. Когда Маркен, не ведая страха, защищал то свою улицу, то тех же ребяташек или вместе с большими парнями нападал на чужие владения, Ванюшка, случайно оказавшийся в драке, бежал не помня себя и не чуя земли под ногами, и потом его долго колотил родимчик от увиденного или испытанного на своей тонкой шкуре. Так он, случалось, бросал в беде своих дружков, когда на них налетали ребяташки с другогог околотка, за что бояку презирали и жалели.

Размазывая слезы по щекам, Ванюшка пошел далеко в обход Маркена, который ждал, повыше подтянув отяжеленные песком, длинные, до колен, трусы.

– Обновили штаны! – Маркен захохотал.

Парнишка не сдержался – пугливая осторожность отступила, а вся его детская суть налилась распирающей душу, непереносимой обидой, – и взхлеб, сквозь слезы посулился:

– погоди, конопатый, братка-то поймает, салаги загнет. Будешь знать, как толкаться.

– Кого, кого? Я не понял, – разулыбавшись всем жарким лицом, так ласково переспросил Маркен, что Ванюшка на какое-то малое время даже пожалел о своем грозном посуле. – Ну-ка, ну-ка, упадь, повтори?.. – и, не дождавшись ответа, подлетел коршуном, звонко прилепил в ухо да, по-мужицки далеко и неспешно отмахнув руку, прицелился в другое, но тут уж Ванюшка напролом, с ревом кинулся в гору. От брюк его в разные стороны полетели брызги, спекаясь шариками в теплой пыли.

Следом засеменял на своих толстых ножонках маленький Базырка, и над песком зависла неуютная, натужная тишина. Все уже давно просмеялись, пережили азарт стороннего наблюдения за дракой и теперь настойчиво гадали: как же к ней относиться? Хотелось скорее забыть всё, смыть пережитое волнение озерной водой и никак не относиться.

Забравшись в гору, Базырка неожиданно развернулся к ребятам и, упершись руками в колени, отставив пухленький зад, с которого свисали великоватые трусы – штанов ему летом и вовсе никаких не полагалось, – скорчил рожицу, потом высунул язык.

– Бя-а-а-а... бя-а-а-а-!.. – заблеял он. – Рыжий-пыжий, конопатый, убил баушку лопатой!.. Рыжий-пыжий, конопатый...

– Буря-ат – штаны горят, рубаха сохнет, бурят скоро сдохнет! – заорал в ответ Маркен.

– Русский-плюский, нос горбатый, убил баушку лопатой! – не остался в долгу Базырка.

– Ну, держись, тарелка! – крикнул Маркен, имея в виду круглое, как солнышко, щекастое Базыркино лицо, и, немного пробежав по глубокому сыпучему песку, запыхавшись от злости, схватил в руку обломок старого весла и со всего маха кинул его в гору. Крутясь пропеллером, обломок шмякнулся где-то на полдороге от Базырки, и Маркен стал жадно шарить вокруг себя торопливым взглядом, но ничего, чем бы еще можно было пужнуть, под руку не подвернулось.

– Не попал, не попал, свою мать закопал!.. Бя-а-а-а-!.. – отскочив, протараторил Базырка и, больше не пробуя риск на вкус, припустил вдоль улицы, которая начиналась от некрутого яра и по которой, не сбавляя рева, бежал Ванюшка.

– У-у-у, налим узкоглазый, поймаю, всю харю разукрашу! Лучше не попадайся!.. – Маркен, чтобы истратить остаток забродившей злости, кинул ещё камень, но теперь и вовсе вхолостую – ребяташек и след простыл.

– Пошто дразнишься? – поднявшись на ноги, ссутулившись, уже изготовленно сжав острые кулачки, заступился за брата Радна, видимо, крепко обидевшись за те унижительные для всякого бурята прозвища, какие Маркен выпалил вслед Базырке.

– А чо он первый начал дразниться?! – психовато взвизгнул Маркен и неожиданно побледнел, – ярче проступили и засветились на лице частые конопушки. – Я ему еще дам за рыжего.

– Он маленький. Чего ты на маленьких-то заедаешься?! Почо Ваньку обидел?

– Не твое собачье дело, понял! – огрызнулся Маркен.

– Пойдём, выйдем... – Радна встал против Маркена.

– Давно не получал?! Счас схлопочешь.

– Попробуй... – сумрачные и бездонные глаза Радны заузились, почти пропали среди круто набугренных щек и покалывали острыми, холодными шильцами; и весь он сейчас походил на красивого, бурого зверька, съезженного в комок, но готового – не поспеешь и глазом моргнуть – разжаться опасно шелкающим, тугим луком, из которого почти невидимо вылетит стрела, пущенная смуглой рукой; и еще он походил сейчас от гортанно заклокотавшей в нем крови на древних предков своих, гонявших по здешним степям табуны полудиких, кровоглазых коней; казалось даже, что Радна не торчит, чуть согнувшись, на песке, а покачивается в седле, расслабленно склоняясь набок, готовый мгновенно стебануть коня коротеньким, сплетенным в косичку, сыромятным бичом и, захлебываясь горловым клекотом, полететь над припавшей к земле, белой ковылью, над самой забайкальской степью, – заманчиво и страшно было смотреть на него даже Маркену. Ребятишки напряженно замерли – могла разгореться нешуточная драка.

Ребятишки тут же охватили противников полукольцом, остро предчувствуя еще одно развлечение. Ближе всех к Радне стоял, нервно переминался Пашка, и по его косым, бодающим взглядам чувалось, что и он не прочь ввязаться в драку, отомстить Маркену за дружка Ванюху, но пока еще побаивается.

Противники, не сводя друг с друга глаз, попятились ближе к воде, на твердый песок, и встали петухами лицом к лицу.

– Раднаха, возьми его на калган⁸! – азартно подсказал Пашка, но тут же и прижал язык за зубами.

– Маркен глянул на него въедливым, ничего доброго не сулящим взглядом.

Маркен уродился пареньком сорвиголова и был на год постарше Радны, но связываться с ним боялся, – его же, настырного, хоть до потемок метель, вози по песку, все равно не отступится, кровью будет умываться, не заплачет, не убежит, а станет еще злее наскакивать; и когда ты об него, твердого как степная земля, исколотишь все руки, когда выбьешься из сил, тут уж пощады не жди. Испытав это на своих скулах, Маркен, где надо хитрый, выжидал, тянул время, похоже, надеясь свести драку на нет и примириться с Радной. А пока, изготовленные к броску, с упругой зверинной мягкостью скрадывали друг друга и, сцепившись взглядами, подначивали кивками голов: дескать, давай, давай, начинай первым; но то ли солнце их разморило, то ли Маркен уже истратил зло, драка не пыхнула. Противники ходили друг возле друга, словно два бодучих бычка, глядящих исподлобья и роющих землю копытами, потом стали выяснять, кто прав, кто виноват, что означало – драка выдохлась.

VI

Благостно коротка память ребят на брань и ссоры – с июльскую птичью ночь: лишь стемнело, и тут же синее, будто и не было в помине топких потёмков хоть глаз выколи, когда ты,

⁸ Взять на калган – ударить головой.

допоздна заигравшись в уютном доме своего дружка, под конец рассорившись, выпал в темноту и сразу ослеп после тепло освещенной избы, и сразу оглох на оба уха от облепившей тебя тишины, в которой блазнятся пугающие шорохи, шелесты; и ты, маленький, потерянный среди таинства ночи, – где мерещатся зверушечьи хари, оскалы, зеленовато вспыхивающие глаза, – бредешь, спотыкаясь, по деревне, разгребая потёмки испуганно вытянутыми ручонками, а уж в ночной глубине, где-то за озером, затеплился желтоватый клубочек рассвета, пустив вдоль берега пушистую ниточку, – вот так же всё, что ярко шумело на песке, все темное, ночное, скоро отлетело к небу, испарилось, как испарились в пропеченном, пахнущем гарью воздухе и детские слезы.

Разговор на песке снова вернулся к Ванюшкиным брюкам, всполошившим берег, – будь они неладны.

– Это еще кого-о, – кисло сморщился Пашка, – Ванькины брюки – тьфу! – он лихо сплюнул через левое плечо. – Вот батяня мой поедет в город солёную рыбу продавать, – цыганистые Пашкины глаза опять заиграли сырым блеском, расширились, а сам он встал на колени перед ребятами. – Привезу тебе, грит, костюм матросский, – ну-у, такой синенький, с белыми полосками на вороте, как заправдашний. А ежлив, грит, хватит выручки, дак и велик прихвачу, двухколесный.

– Ага, Косой, тебе и велик, и костюм?! – накинудся на брата Сохатый. – Жирный будешь, спать забудешь. А мне что? – он тоже встал на колени против Пашки и со злой обидой уставился на него. – Мне велик, понял?

– Ты, Сохатый, ездить-то умеешь, чума огорода?.. Ты же велиосипед с ходу поломаешь или камеру пропорешь – вон сколь гвоздей по деревне валяется.

– Все равно, Косой, велик возьму, вот-а, – Сохатый захныкал, а все на песке дружно засмеялись, потому что перепалка братьев Сёмкиных походила на известную байку про цыгана, который, держа в дырявом кармане блоху на аркане, вслух размышлялся, как он купит кобылу, кобыла ожеребится, а когда шустрый цыганенок крикнул, что будет кататься на жеребеночке, цыган дал ему по загривку: «Дурак, хребтину сломаешь, – он же маленький еще. Чем зубы-то скалить, лучше поди-ка да брось кобыле сенца. А к жеребеночку и близко не подходи. Ишь, чертенок, выдумал забаву...»

Пашке, любившему прихвастнуть – а не хвастать ему было нельзя, иначе бы жизнь его, сбросив пестро придуманную сбрую, заголившись морщинистым, костлявым телом, стала бы ему скучна и темна, – никто не поверил, да и откуда вере взяться, от озерной плесени, что ли, если Пашкин отец Никола Сёмкин, сухостойный, рукастый, с прокуренными дожелта, казачьими усами, был первый на деревне выпивоха и рыбой в избе пахло лишь по великим праздникам.

Выпивал Сёмкин и раньше, но в последние годы редко просыхал, и бабы своих подвыпивших мужиков и обзывали-то не иначе как: харя ты сёмкинская, прости господи, и боле никто!.. опять наливался, пьянчуга проклятый!.. Ребятишки нет-нет да и слушали дома такую забористую ругань и самого Сёмкина видели спящим возле винополки. Со временем деревенские привыкли к такому зрелищу и смотрели невидяще, – лишь иная сердобольная старуха жалостливо и осудительно покачает головой, поцокает языком и со вздохом перекрестит его; и если нужно было кому-то попасть в лавку, а пьяный Сёмкин отдыхал прямо на крыльце, то, чуть замешкавшись, перешагивали его, будто и не человек, пропивающий остаток запаленной жизни, прилег отдохнуть, а привычная глазу, трухлявая валежина, оттащить которую с дороги ни у кого руки не доходят. Потом, правда, прибежала жена Сёмкина, школьная уборщица тетя Варя, и с грехом пополам волочила мужика домой. Под забором, куда, случалось, оттаскивали зюзя⁹ мужики, лежал Сёмкин, как в родной избе у жёнки под боком, и рядом, прячась в тени

⁹ Зюзя – пьяница.

заплота от знойного солнца, пристраивалась коровенка, тут же вислобрюхая свинья со своим многочисленным розовым выводком рыла корни крапивы, сердито всхрюкивая на Сёмкина, занявшего столь много полезной и нужной земли, и даже иной раз пытаясь подрывать под него.

Конечно, никто не поверил Пашке про костюм матросский, про велосипед с двумя колесами, которые отец будто бы сулился купить в городе после продажи соленой рыбы. Какая там рыба?! Если от соседей, от тех же Краснобаевых, что перепадет или Пашка выпросит у рыбаков – вот и вся добыча. Тут не до продажи, тут, живя у воды, хотя бы не забыть, чем и пахнет свежий окуnek. Так что о велосипедах и костюмах братьям Сёмкиным можно было лишь грезить – это дозволено, это недорого стоит, – коль уж без грез ребячья жизнь не жизнь, скорбное прозябанье.

– Може, купнемся еще, а, робя? – позвал Маркен ребят, видя, как невдалеке забредают девчушки, которые всегда купались особняком, а выжимались за заплотом старой ветряной мельницы, таким щелястым, будто устроенным еще нарочно для ребячьих глаз, сверкающих испуганным, еще малопонятным азартом. Малые – годки ребят и чуть постарше – забредали в разномастных трусишках, те же, кому было что таить, – в майках либо длинных рубахах, навроде ранешних сарафанниц. Еще забредая, они с опасливым ожиданием, но, как неизбежное и веселое, поджидали, когда ребята станут на них налетать.

Краснобаевская Танька и Викторка Сёмкинская, убредя в озеро до колен, заиграли в топы-шлёпы: запричитали на все озеро, замысловато шлепая друг друга по ладоням:

Дело было в январе,
Первого апреля.
Шел высокий господин,
Маленького роста,
Весь кудрявый, без волос,
Тоненький, как бочка.
У него детишек нет,
Только сын и дочка.
Пишет он письмо жене,
Незнакомой тете:
«Жив-здоров, лежу в больнице,
С переломом поясницы.
Сыт по горло, жрать хочу,
Хоть барана проглочу.
Приезжайте ко мне в гости,
Я вас видеть не хочу...»

– Хва, робя, лежать, айда купаться, – почти приказал Маркен.

Ребятишки звонким горохом посыпались в озеро; и на песке остались четкие вмятины их тел и, запорошенные, валялись в куче шкеры и майки. Радна с Маркеном, уже позабыв недавнюю стычку, запрыгали по мелководью, поднимая после себя белые хвосты брызг, из которых вымигивались коротенькие радужки, заиграли, точно годовалые бычки-бурушата, отпущенные из стайки на вольную траву, и, что-то лихое крича, разом нырнули. За ними потянулись малыши – эти и совсем голышом, прикрывая животы ладошками, – зябко пробуя воду, стали тянуче препираться, кому в этот раз ее греть, окунаться первым.

VII

На опустелом, добела выжженном песке сиротливо лежал Пашка, все еще, может быть, в мечтах красуясь в матросском костюмчике и катаясь на новеньком велосипеде. Возле него, сданные ему на руки матерью, возились трехлетние близняшки Серьга и Петька, но и те, разогнувшись, подняв извоженные глиной мордашки и увидев, что все уже в озере, поковыляли к воде.

– Петух, Серя! – спохватившись, крикнул им вслед Пашка. – В воду залезете, убью, поняли?

– Разок окунемся?.. – попросил близняшка.

– Разок?.. Ладно, на мелкоте окунитесь и всё, поняли? Утонете, домой не приходите, ясно? – подмигнул он Серьге и тут же приметил, что в озеро забредает его десятилетняя сестра Викторка со своими подружками Танькой Краснобаевой и Даримкой Будаевой.

– Викторка! – Пашка сердито окликнул сестру. – Иди смотри за ними! – кивнул головой на близняшек. – Они мне надоели.

– Смотри, смотри, – тебе мать велела, – Викторка дразняще, беззаботно рассмеялась и побежала в озеро.

– Дура! – крикнул он вслед сестре. – Мне же рыбы надо добыть, – Пашка махнул рукой в сторону бродничавших мужиков.

Тут к нему подошла Танька Краснобаева.

– Чего это наш Ванька кричал?

– Маркен его в озеро толкнул, а потом в ухо дал.

– Ну, конопатый! – прошипела Танька. – Ну, ты получишь у меня, рыжуха... Где его майка?

– Да вон лежит.

Танька схватила Маркенову майку и, сбегав к воде, намочив, завязала узлом, который они с Викторкой Сёмкиной затащили вдвоем, чуть не порвав одёву.

– Пусть теперь попробует развяжет... Ржавый, – засмеялась Танька. – Да мы еще в воде ему покажем...

Танька лихо кинулась к воде, высоко вскидывая острые коленки, за ней бросилась Викторка, а Пашка прилёг и, откинувшись на упертые в песок локти, стал смотреть сквозь ленивый прищур, как Радна с Маркеном понарошку, чтобы испугать девчонок, тонули, орали лихому:

– Спа-аси-и-ите-е-е!.. – Эхо подхватывало голос и носило его над озером. – То-ону-у-у!

Дав наперегонки небольшой круг, подвернули к девчонкам, которые, сцепившись в хоро-вод, подпрыгивая над водой, дружно и голосисто выводили:

– Ба-ба сея-ла го-рох... о-ох!.. – после протяжного оха все разом садились в воду, потом долго смеялись, отфыркивались и опять затягивали «бабу».

– Шур дутэ, самолетэ эсэсэре!.. – дурашливо запела Танька бурятскую песенку, какую зимой разучивала в школьном хоре, не толмача ее смысла; повторила еще раз, запнулась, пала в воду и, вынырнув, протараторила на все озеро:

Самолет летит,
Пропеллер крутится,
А мой миленький,
В школе учится!

Но вот, колошматя руками по озеру, поднимая пенистые буруны и визг, кинулись девчушки врассыпную, – это Маркен поднырнул под кого-то и ущипнул, потом неожиданно вынырнул с ревом прямо в середине хоровода. Когда девчоночий визг спал, слышался истошный вопль Маркена, то вспыхивающий, то пропадающий – это уже Викторка с Танькой зажали Маркена и – будто клокчущую курицу, не ко времени надумавшую парить яйца, выводить цыплят, – окунали в озеро с головой, не давая, бедному, путем отдышаться. Тяжелехонько бы пришлось Маркену, если бы на помощь не подоспели Радна с Сохатым. Они захлестали по воде ладошками, окатывая Викторку с Танькой, и те опомнились, утихомирились, оставили в покое измученного Маркена, который уже так матерился, что и самый заскорюзлый мужик диву бы дался.

Пашка лег на спину, кинув руки в изголовье, и стал обморочно, сквозь опущенные ресницы скрадывать низко кружащего коршуна, – похоже, высмотрел в приозерной ограде цыплят ли, утят ли, – и опять припомнилась парнишке жутковатая сказка про небесных удильщиков, отчего он тут же беспокоило глянул на братьев. Серьга с Петькой, искупавшись, нашли себе доброе заделье, – оттопырив голые заднюшки, посмеиваясь, побряхтывая, засыпали песком ребячью одежду.

– Коршун, коршун, гузо сморшил! – Пашка привычно подразнил варнаковатую вещунью и, поднявшись, отряхнув песок с трусов, крикнул в озеро:

– Сохатый! Эй ты, Сохатина, вылазь!.. Смотри за пацанами... – Он хотел было прибавить «чтоб коршун не утащил», но смекнул, что пустое. – Сохатый, я пошел... Серя, одень фуражку, кому говорю! Опять бошку напечет...

Серьга даже ухом не повел, и тогда Пашка отыскал кепчонку, вытрусил из нее песок и напялил на Серьгину голову, затем, подумав, надернул до самого носа. Парнишка тут же сел на песок, захныкал и стал обеими ручонками, ухватившись за козырек, снимать тесную кепчонку.

– Не снимай, понял, – погрозил ему кулаком брат. – И в воду не лезь. И ты, Петух, еще в воду сунешься, шею отверну.

У Пашки зародилась в голове хозяйская мыслишка, и, еще раз окликнув Сохатого, заставив его присматривать за ребятами, побрел в сторону бродничавших рыбаков.

VIII

По песку ползли крылья бродника, и в ячеях среди блескуче зеленого шелковника, бурой листовой травы и жидкой тины, как в ознобе, дрожали редкие окуньки, а квелые против окуня чебаки уже засыпали, безжизненно волоклись по песку, растопырив красные перья, взблескивая и зеркалясь на солнце боками; и только щучки-шардошки отчаянно бились, подпрыгивали на песке, разевая зубастые пасти. Два рыбака, молодой и бывалый, вытягивали крылья бродника, проваливаясь незагорелыми, жилистыми ногами в глубокий песок, при этом азартно косились в сторону мотни, высматривая там рыбу, даже и не отмахиваясь, не отдуваясь от черно облепившей мошки. Переговаривались изредка, почти шепотом, точно боясь спугнуть рыбу да и сам фарт.

– Дядя Митя, чайки выются в небеса, жди от моря чудеса, верно? – тихонько засмеялся молодой.

– Не сглазь – шикнул на него бывалый.

Пашка знал, что рыба в мотне, пузырящей воду под самым берегом, а в крылья залетает редкая, одуревшая с испуга, и готовил майку под мешочек: затянул лямки узлом, для пушей прочности смочил узел водой. Теперь ему нужно было подсобить рыбакам, а вернее, выказать услужливый вид, и жареха¹⁰ обеспечена. При ладной добыче, а такая ожидалась, отбросить

¹⁰ Жарёха – рыба на одну жарку.

малому десяток-другой на жареху совсем не накладно и душе утеха – пособил скудному; тем более, все в деревне знали, что если Пашка не принесет, то рыба, еще не берущая на удочку, никак в семкинский дом не заплывет, а рыбки свеженькой всем охота – даром, что ли, возле озера жить?! Нет, не в урон даже при худой добыче кинуть парнишке котелок мелочи, какая, Боже, нам не гожа, а уж тому-то радость!.. Тащит домой, аж запыхается от гордости, довольный, для пушего форса снижает эту мелочь на проволоочный кулан, чтобы вся улица дивилась: ай да Пашка, ай да молодец... боёвый парень у Сёмкиных растёт, – куда с добром, кормилец. Ишь ты, и рыбехи где-то раздобыл, – наудил, поди. Мал, да удал.

Среди бродничавших Пашка признал дядю Петю Краснобаева, Ванюшкиного отца, который стоял по колено в воде, взбунчивая ее иссиня-белыми, беспокойными ногами, запугивая рыбу в мотню.

– Лексей, тише тяни, тише! – отрывисто, лающим голосом покрикивал он, нервно отбрасывая со лба крылья полусивых волос. – А ты, Митрий, – мать ты за ногу, копучий!.. – давай, давай, шевелись! Тяни, тяни ходом, не отставай. Упустим же, идрит твою налево. Во, во!.. под крылья пошла!.. И мотня поднялась... Прижимай, мужики, крылья, прижимай!.. Ходом тяните, ходом, ребята!

Иногда он затаивался и, сморщившись, как от зубной боли, перекосив рот, обметанный седоватой щетиной, протяжно и властно смотрел мутно-голубыми глазами в сторону мотни, будто приказывал рыбе ласковым голосом: лезь, дура, в мотню!.. лезь, милая!.. лезь, тварина безрогая!.. Потом настороженно, со звероватой цепкостью озирался из-под кустисто нависших бровей и еще торопливее бурунил воду ногами, вздымая сорную муть, кышкая рыбу от крыльев в мотню и подстегивая своих помощников бриткими матюгами.

По-сухому вытягивал бродник старший сын Петра Краснобаева – Алексей, крутоплечий, в бугристых мышцах, осадистый парень, недавно нагрывший с городской невестой; за другую жердину тянул Дмитрий Шлыков, Маркенов отец, прозываемый в деревне Хитрым Митрием, еще молодой, но до времени отяжелевший, оплешивевший мужик. Возле перевернутой вызеленевшей от древности, полусгнившей лодки красовался неведомо как добытый Хитрым Митрием армейский «Ирбит» с люлькой, а к мотоциклу была прицеплена двуколая тележка – рыбу грузить, ежели не влезет в люльку.

Когда Пашка сунулся к рыбакам со своей подмогой, изготовившись тянуть крыло вместе с Алексеем, то не выдержал и ахнул, выпучив глаза:

– А рыбы-то-о в мотне, дядь Петь!.. Видимо-невидимо...

Дядя Петя, неожиданно узрев парнишку, знобко передернулся, – может быть, от того, что больно уж тот личил на своего отца, Николу Сёмкина, бывшего рыбнадзора, лихо погонявшего здешних рыбачков. Мужик от неожиданности чуть не сел в воду, потом облегченно вздохнул:

– Вот, холера, напугал так напугал, чтоб тебя комуха¹¹ побрала. Но-ка, шурш отседова. Шагом арш! – сдавленным шипением шугнул он парнишку от себя и даже нервно отмахнулся. – По-одкрался... Много вас тут ходит, на всех не напасешься. Всем давать, не успеш штаны скидовать... – он говорил сипловатым шепотом, будто кто-то мог услышать среди серо-зеленого озерного покоя. – Дуй, дуй отседова, дуй по холодку!

– Бросим, отец, маленько... на жареху, – косо глянув на Пашку, сморщившись, попросил Алексей.

– Кончай рассусоливать, тяните, – махнул рукой отец. – Чего встали? А то, неровен час, рыбнадзор нагрянет.

– Да кинем с пяток, чего жадничать. Жалко парня.

– Жалко у пчелки, – проворчал отец и опять стал шуровать ногами в воде, пугая рыбу в мотню. – Кому бы другому дал, а этому не в жись, – сёмкинская родова, – может быть, сейчас,

¹¹ Комуха – нечистая сила.

когда отец с помощниками добывал рыбу помимо закона, то припомнилось ему, как Пашкин отец однажды вытянул его мокрым веслом и ославил вначале перед начальством, поджидавшим рыбки на уху и про запас, а затем пошел славить по деревне, и по сей день славит, костерит, обзывая кулацкой мордой.

IX

Конечно, не отроду Пашкин отец пил горькую беспробуда и просыху, не весь век провалялся возле винополки или под крапивным забором в обнимку со сморенной на жаре коровенкой. Нет, шла у Никола Сёмкина и другая жизнь, и Пашка знал ее, похвалялся на всех перекрестках, расписывая отцовы подвиги, какие случались, а каких и быть не могло.

Пришел Сёмкин с войны в одночасье со своим товарищем Петром Краснобаевым, слегка контуженный, но при ордене Славы; вот за это, и что воевал в разведке, его и пихнули в рыбнадзоры. Люто взялся фронтовик за правож мужиков: резал сетешки налево и направо, отбирал бродники и раздаривал щедрые штрафы, не глядя: кум ты, сват, друг иль брат, – всех под одну метелку мел. Поначалу в деревне, заброшенной Богом к лешему на кулички и вроде забытой там, испокон века привыкшей вольно, кулями черпать рыбу из окуневых озер, дивились такому диву дивному, потом, больно ужаленные, пробовали толковать с ретивым рыбнадзором за бутылочкой винца, пытаясь задобрить, а всё без проку. Пашка, прибежавший играть к своему дружку Ванюхе, слышал, как Ванюшкин отец учил его батяню жизни, – тогда отцы еще жили в соседском ладу.

– Все мы, паря, из одной деревни, одним миром мазаны, и чо нам, соседям, из-за вонького окуня грешить, – наставлял Петр Краснобаев, разливая в кухне водку по стаканам, а ребятишки тем временем, кое-что уже смекая, несмотря на малые годы, прислушивались к разговору из горницы. – Слава богу, рыбехи у нас пруд пруди, на наш век за глаза хватит, а ишо и ребятам останется.

– Порядок должен быть, Пётра, – мягко, но непреклонно отвечал Сёмкин, выпив и подкрутив свои лихие казачьи усы. – Я те, Пётра, чо скажу: раз меня поставили, я порядок наведу, вы уж не взыщите. Я, паря, даром хлеб ись не привык, я привык честно хлеб зарабатывать. Раз назначили, чо уж тут делать.

– Оно, конечно, понятно, но ежли, Никола, тебе какой план на браконьеров отпущен, дак ты городских и лови, которые сюда с бродниками прибегают, – читинских там, улан-удэнских. А своих-то почо обижать?! Тебе тут и дальше жить. Не лютуй.

– Мне хама угэ¹², городской ты, деревенский, хошь начальник-разначальник, хошь кум, хошь сват. Порядок должен знать и почитать.

– Да какой убыток озеру от наших сетёшек, бродников?! – вразумлял Петр Краснобаев своего непонятливого дружка. – Никакой... Вон, рыбзавод гребет неводами, и рыба уплывает хрен знат куда, вонького окуня сроду в магазин не выбросят. Это что же подле воды жить и не напиться?... Но это уж извини-подвинься.

– Да не, я чо, не человек, зверь какой?! Лови-ите, лови-ите, сети ставьте, бродничьте, ежли только на кормежку и в срок. А ловишь без чуру и сроку, ежли в город фугуешь бочками, обогатиться хошь, тогда тебе во! – захмелевший Сёмкин показывал кулак. – Нюхай чем пахнет. Я спуска, паря, не дам. На еду, на засолку себе – эт завсегда пожалста, а больше не лови. Или вон договор заключаи с тем же сельпом и сдавай, зарабатывай по-честному.

– А как ты разберешь, на еду он ловит или в город бочками фукает?

– О-ой, Пётра, я же вас всех наскрозь вижу, и знаю, кто чем пахнет. А которые проквашенным окунем воняют, тех за версту чую.

¹² Хама угэ (бурятское) – все равно.

– А, скажем, попался тебе начальник... к примеру, председатель райисполкома, тогда как? Ты же ему подчиненный.

– Его-то в первую очередь и прищучу. Тебя, гад, поставили людей порядку вразумлять, а ты сам какой пример показываш?! Эдак не только в районе, а и в стране рыба с головы почнет загнивать.

– Да уж гниёт и тухнет, не продохнуть... Но председатель-то с ходу тебе лен¹³ заломит.

– А это еще как поглядеть. Шибко-то меня не запугаш, пуганный. Я на фронте всякого насмотрелся... тоже командиры были. Сам понимаешь, кто в разведке воевал, того, паря, на испуг-то не возьмешь. Не таким хребты сворачивали.

Когда Никола уходил, Петр Краснобаев сухо сплевывал ему вслед:

– Нача-альник... Но, поди, вьется веревочка, да и порвется, где тоныше. Высоко залетел, психопат, больно падать будет с верхотуры.

Встречая отпор в суховатом и нервном – от фронтовой контузии – горячем рыбнадзоре, стали мужики по пьянке стращать, а кто-то темной ночью изрубил дно в сёмкинской, одной на всю деревню моторке-пукалке, как ее прозвали рыбаки. А тому все неймется, пуще стал гонять рыбачков, точно сдурел от доверенной власти, и не особо разбирался, на еду ли ловишь, на вольную продажу ли, – все одно. Не срок, не велено!

Может, страдать бы и страдать загребистым сосновоозёрским рыбакам от ошалевшего рыбнадзора, ловить лишь на удочку, – благо, что и на нее можно было в одну зорьку надергать ведра три ладных окуней, – может, и присмиреть бы мужикам под жилистой семкинской рукой, не стукни он тихим вечерком своего бывшего товарища Петра, с которым по молодости дружбу водил и на фронт уходил, – хотя Петр угодил в железнодорожную охрану, Никола же, фартовый, дважды отлежав в госпитале, четыре года отбухал на передовой.

Сёмкин не раз ловил приятеля то с сетями, то с бродником и, пересилив норы, все же отпускал с богом, по-божески же и прося лишний раз не баловать на озере. Да Петр Краснобаев, правду сказать, и не прятался по глухим заводям, надеясь на старинную дружбу, так что поймать его было нетрудно, сам в руки плыл. Еще нарочно, бывало, против деревни кинет сети и тут же подле берега для куража на удочку рыбалит.

Повстречались они на розовой закатной воде, – Петр только что начал проверять сети, пятью концами вытянутые вдоль уловистой травы шелковника, у истока, сливающего два озера. Слово за слово, и – опять же, видно, сказалась контузия, – Сёмкин не удержался и в припадке вытянул своего товарища по хребтине тяжело набухшим водой кормовым веслом.

На другой день случай с шумным интересом в бабьих подолах разнесли по деревне, а через полмесяца Сёмкина турнули из рыбнадзора за превышение власти, за рукоприкладство; выгнали на потеху все тех же загребистых рыбачков. Отвоевался Сёмкин и, с горя запив горькую и зеленую, колотил себя в узкую, по-птичьи встопорщенную грудь и, сверкая пьяными шарами, доказывал: дескать, вовсе и не за Петю Халуна¹⁴, подавился он тухлой рыбой, не за него турнули из рыбнадзора, а будто бы за то, что он, путем не разобравшись, да и не стараясь разобраться, отнял бродник и сети у наезжего начальства. Краснобаев-то как раз и проверял их сети, а они поджидали у костерка, и выпивка, и рожни, чтоб жарить окуней, – все было наготове. А поджидали: тогдашний начальник Петра по «Заготконторе» Исай Самуилович Лейбман, с которым Краснобаев тогда хороводился, и с ним городской залёта покрупней. Сёмкин снял сети, расправившись с Петром, а на берегу, где составлял акт, отобрал еще и новенький бродник, что сушился на кустах. Вот за это, и за то, что обозвал Лейбмана жидом порхатым, жаловался Сёмкин, его и съели вместе с потрохами, а не за то, что Петра веслом навернул. «Ну,

¹³ Лен – позвоночник у рыбы.

¹⁴ Халун – горячий конь.

ничего-о, ничего-о... – еще хорохорился он поначалу. – Я этих иудов и шестерок ихних... – намекал на Петра Краснобаева, – выведу на чисту воду, и на их управу найду...»

Может быть, тут Сёмкин и кое-что прибавлял, стараясь выказать себя эдаким страдальцем за правду-матку, потому что попросить из рыбнадзора могли и за печальный грех, – уже тогда, состоя на сердитой службе, начал он потихоньку заглядывать в рюмку; а потом и случай рукоприкладства оказался не первым.

Своему бывшему товарищу, отведавшему, чем пахнет мокрое весло, Сёмкин потом выговаривал: мол, не за сети угостил тебя, Халуна, а чтоб начальству не прислуживал, как лиса, чтоб не лизал ихние пятки и не прятался за жирными спинами. Хитрый Митрий, слушавший разговор Сёмкина с Петром, усмехался: мол, глаза-то надо было пошире разуть да смотреть, кого ловишь-то. Что ты им можешь сделать?! Да им эту рыбеху на тарелочке поднесут да еще и с поклоном подадут: кушайте на здоровье, дорогой Исай Самуилович, кушайте, не подавитесь. Они даже и просить не будут, люди сами принесут. Да не окуня паршивого, бери выше, – омулька им подкинут, кету, горбушу, икру в банках. Что им наш окунь вонький?! Они же выгребли прохладиться, выпить на бережку, рыбку поесть с рожней. Куда ты полез?! Одно слово, контуженый.

И круто, как раньше гонял рыбаков, загулял бывший рыбинспектор, загулял во всю ивановскую, – вернее, во всю широкую сосновоозёрскую, что и не унять, не осадить, потому что, казалось, останови, разогнавшееся сердце не вытерпит, лопнет от напряжения. В перерывах от запоя Сёмкин клал и ладил печки – так и запомнился всем: высокий, костистый, с лихо закрученными, дожелта прокуренными усами, запорошенный известкой и с мастерком в руках. Добрый он был печник или так себе, бог весть, но чуть ли один на весь околоток, и тут, как ни крути ни верти, а всё к нему же и приткнешься. Перво-наперво надо было застать его до открытия винополки, где он отирался ни свет ни заря, поджидая рюмку, и уж лучше опохмелить, а на вечер посулить уже законную бутылку – сверх бутылки он и брал-то некорыстно. Когда же в загуле неожиданно случались большие перекуры, ходил он по деревне как в воду опущенный, нелюдимый, слова путного из него не выдавишь, злой на весь белый свет, потому что, наверно, на себя самого был во сто крат злее, но работал о такую пору, как вол, – клал и ладил печки не только в Сосново-Озёрске, но и в ближайших деревеньках, в рыбацких поселках, на бурятских гуртах. Райкомхоз, где он и числился печником, не мог нарадоваться на дюжего, безотказного работника, а жена, измотанная вечной домашней гулянкой, нуждой, теперь же принимая из трезвых мужниных рук завидные деньги, от счастья не знала, в какой угол посадить, чем отпотчевать, чем угодить, хотя нет-нет да и с тоской поглядывала в окошко, словно откуда-то из середины деревни поджидая привычную беду. И беда, хмельная, косматая, бранливая, не заставив себя долго ждать, вскоре являлась: приработав деньжонок, поправив хозяйство, накопив сенца корове, козам, одыбав немного, Сёмкин опять начинал томиться размеренной жизнью, и опять заводил горькую песню, и опять для невеселого назидания степноозерским мужичкам, при случае тоже не дуракам выпить, под вечер засыпал на своем привычном месте у винополки.

Отношения его с Петром со временем смягчились. Хоть и недолюбливали они друг друга, поносили и в глаза, и заглазно, а уж и выпивали напару, подсобляли друг другу по хозяйству, – как же тут розно жить, если соседи, если жены с молодую товарки¹⁵, а ребятишки, хоть и прознавшие случай на озере, были по-прежнему как единокровные братья и сестры – Танька Краснобаева чуть не с пеленок водилась с Викторкой Сёмкиной, Ванюшка – с Пахой. Вот ребятишки и примирили их. Да случай еще...

Брел Сёмкин вечером с печной работы – дело вышло как раз о покосную пору, – шел да против краснобаевской избы невольно обмер. Слышит крик ребячий – Ванюшка с меньшей

¹⁵ Товарки – подруги.

сестрой Веркой прилепились к стеклам, расплющили носы и ревут не своим голосом, закатываются, а в избе – даже сквозь стекло видно – полнехонько дыма. Кинулся Сёмкин в ограду – сени на большом амбарном замке, и под рукой ничего нету, чтобы выворотить кованый пробой вместе с замком. Схватил березовое полено, прибежал в палисадник и вышиб стеклинку, даже Ванюшке щеку поранил осколком. Вместе с клубами дыма выпали ему на руки ребята. Усадил их в палисаднике под чахлой березкой, а сам полез в избу, где и залил охваченный огнем возле печки ворох щепы и стружки, – благо еще, бочка была полна воды.

Мать с отцом уехали по утру на ближний покос и должны были к ночи вернуться, а Танька, которую оставили приглядывать за избой и за ребятами, замкнула их и упылила со своей подружкой Викторкой на озеро купаться. Ребятишки же, то ли оголодавшие, то ли из баловства, наладили в чугунке картошки и взялись растапливать печь. Как уж они ее растапливали, бог весть, да, похоже, выпал огонь из печи и запалил щепу и стружку, брошенные у поддувала, припасенные для растопки. Кухня и горница быстро разбухли непроглядным дымом, и ребятишки, вусмерть перепугавшись, кинулись сломя голову в сенки – заперто, а вот выбить стеклинку ума не достало. Тут, слава, Те Господи, Сёмкин и подоспел.

Казалось бы, после такого случая между старыми товарищами должна была возродиться дружба сильнее прежней, но не тут-то было – видать, больно уж далеко друг от друга убрели их стежки-дорожки, и пока еще было неведомо, где им сойтись.

Х

– ...Пусть отец сам ловит, нечего лодыря гонять да вино попить. Не надо повозажать таких... – еще прибавил Петр Краснобаев и плеснул на Пашку синим холодком из-под взломаченных, по-стариковски заиндевелых бровей.

Пашка на всякий случай пустил мимо ушей мужицкую ругань: понятно и ему, малому, что азарт творит с человеком, тут можно и не такое загнать; авось проматерится дядя Петя да и остынет, бросит потом на жарёху, – вон какая ладная добыча, куль у мотоцикла горбится, да в мотне, поди, столько же; а что поносит его, Пашку, так и ладно, – от него не убудет, дело привычное, но без рыбы парнишка решил не уходить.

– Ты кого тут, мать ты за ногу, выпрашиваш?! – Петр Краснобаев с недоброй медлительностью разогнул узкую, в мелкой сыпи веснушек, дряблую спину, вздохнул глубоко и вопрошительно уставился на парнишку. – Хочешь, чтоб я тебе все уши оборвал?! – Он локтями подтянул трусы. – Н-но-ка шуруй отседова подобру по-здорову.

– Не мешай, Пашка, не мешай, – отогнал его и Хитрый Митрий, Маркенов отец, на пару с Алексеем, кряхтя и пристанывая, подбирающий нижнюю тетиву бродника. Пашка убрел к старой лодке, присел на трухлявое днище и уже оттуда стал жадно следить, как живой рыбий клубок, пуча мотню, чавкая и скрежеща перьями, жабрами и чешуей, выполз на песок, как бились в этом клубке, змеились мелкие щучки-шардошки¹⁶ и матерые щуки, будто наказанные за мелкую сорожку, какую только что с веселой яростью гоняли в камышах и глотали. Хитрый Митрий с Алексеем пошли суетливо кидать рыбу в мешок, укалываясь до крови окуневыми перьями, на чем свет костеря их, со злости заламывая лен особо нервным окуням, и Пашке почуялось, что рыбы ему нынче, однако, не перепадет. Он уже побрел было, косясь на скачущую по песку рыбу, но тут заметил, что с дальнего проулка спускаются к воде двое ребят. Даже толком не разглядев их, понял, что это конечно же Ванюха с Базырой.

Вскоре Пашка опять прибил к бродничавшим, но уже вместе с Ванюшкой, которого пустил вперед, сам же уселся на перевернутую лодку, да так, чтобы не видно было рыбакам. Базырку они оставили караулить одежку, разложенную для просушки на приозерной мураве.

¹⁶ Шардошки – небольшие щучки, обитающие в озерной траве, отчего их зовут и травянками.

– Чего, братуха, прохлаждаешься? – мимоходом спросил Ванюшку Алексей, вместе с отцом и Хитрым Митрием вытряхивающий из крыльев бродника траву и тину, чтобы затягивать по новой. – Давай помогай. Тебе штаны привезли, давай, брат, отрабатывай.

– А чего делать-то? – засуетился Ванюшка, гадая, как бы тихонечко, чтоб не услышал отец, попросить у брата рыбы для своего дружка. Но тот, словно догадавшись сам, шепнул:

– Да не мельтеши ты, – Ванюшка как раз ухватил за верхнюю тетиву и тоже стал трясти крыло бродника, и в лицо Алексея полетели брызги, тина. – Сходи к мотоциклу, принеси-ка закурить.

Проходя мимо Пашки, он быстренько перехватил у него изготовленную под котомочку майку и, видя, что мужики, занятые бродником, даже не глядят в его сторону, скоренько набил окунами и чебаками котомочку под самое горло и даже пихнул туда одну щучку. Прихватив с багажника мотоцикла папиросы и спички, пошел назад и тихонечко отдал добычу. И невдомек ему было, что отец с неожиданной и печальной задумчивостью следит за ним...

Пашка, прижимая котомку к животу, рысью кинулся возле самых огородных заплотов и тынов.

– Чего-то долго копался? – выдернув зубами папиросу из пачки, понимающе улыбнулся Алексей. – Зажги-ка спичку... Угостил дружка... Так, парень, не делают... И без тебя бы кинули парнишке рыбы.

Жара спадала, утекала вместе с солнцем на другой берег, к туманно-сизым хребтам, – это степь, сжалившись, выдохнула из себя свежий ветерок, горячий полынью и сухими травами; по озеру прогулялась первая рябь, наморщив заплатками озерную гладь. Потом из далекой песчаной косы всплыли неожиданные-негаданные темные тучки, и вдруг тихим рокотом долетел гром – гром среди ясного дня.

– Но, мужики, гремит, – подняв палец, сказал отец Алексею, и они замерли, вслушиваясь в небо, но больше ничего не услышали, – мешали крики ребятишек. – Однако сёдни дождь пойдет – ишь, тучи с гнилого угла заходят. Да и поясницу всю выламывают... – отец выгнулся, потирая спину. – К вечеру зарядит, чует моя поясница.

– Не ко времени, батя, – поморщился Алексей.

– Да не-е, хоть бы уж смочило маленько, – Хитрый Митрий почесал толстое брюхо и поддернул спадающие трусы. – А то уж картошка в огороде горит, путем не всходит. Дождика бы...

– Можно и дождя... Нам теперичи дождь не страшен, – качаясь, разминая занемевшую поясницу, улыбнулся отец Алексею. – Мы свое взяли, грех жаловаться. Еще разок затянем и баста. Хотя, паря... раз уж загремело – рыба от берега уйдет, в глубь отвалит. Чует гром. Едва громыхнет, – всё, как отрезало, сматывай удочки... Ну, давай, мужики, по-быстрому затянем и домой.

Алексей быстро привязал кривую толстую палку к нижней и верхней тетиве и потянул свое крыло в озеро, немного согнувшись, двигаясь спиной. Когда он забрел в воду по грудь, отец крикнул:

– Всё, Алексей! Ты давай вдоль берега тани, – тут же обернулся к Хитрому Митрию и тому указал: – И ты, Митрий, мористо забреди, и потянем бродник.

Громыкнуло еще раз, уже сердито, потом еще, а ребятишки брызгались в воде, не замечая восходящих туч, не слыша и грома; весело кричали, пели, взвизгивали, но озерное эхо уже отзывалось глуховато, утомленно.

Часть вторая

I

Во дворе Краснобаевых перед наездом молодых было выметено, языком вылизано до черной, сырой земли. Все прибрано в тесной, сжатой стайками, тепляком, летней кухней, амбаром, опрятной ограде, и даже каменные круги с дырками посередине – ручные жернова, еще недавно без дела и работы брошенные на скотном дворе, сам хозяин Петр Краснобаев, тяжело кряхтя, подкатил к невысокому крылечку и уложил прибавочной ступенькой, чтоб, значит, об круги ноги шоркать, – грязь в избу не носить, чтоб все культурненько, бравенько. Спрятались под крыльцо и под сени вечно торчащие посередине двора площадки для кур и собаки, лопнувшее долбленое корыто, пропали с глаз сани, беспризорно кинутые еще весной с задранными в небо оглоблями. Обнесенный постаревшим, в зелени грибков и сизоватом мху, бревенчатым заплотом, двор подмолодился, подчепурился, как на Троицу, – отметил хозяин, довольный прибором и убором.

И теперь тугой запах рыбьего жира, – настырно ползущий из кухни, потому как всё, даже картошку, жарили на этом самодельном жиру, – забивали чужие, приезжие запахи: празднично и беспокойно веяло далекими краями, приманчиво лежащими за поскотинной городьбой, за буреломными таежными хребтами, за степными увалами; пахло сушками, – их деревенские мужики, угодившие в город, привозили связками, повесив на шею, считая сушки, или, по-городскому, баранки, наипервейшим гостинцем из города; пахло яблоками – это диво в Сосново-Озёрске видели годом да родом; пахло еще чем-то неясным, смешанным, как в магазине, где по соседству с мылом и одеколоном, с лежащими навалом штанами и рубашками теснятся початые ящики халвы, печенья и конфет; а над всем этим нарядным хороводом запахов вольным ветром летал по ограде и, кажется, даже приплясывал на лету запах надушенной и розово припудренной молодухи¹⁷. Ванюшка чуял его особо, слоняясь по ограде, обновленной и волнуяще чужой, не зная, куда себя деть, снова и снова натываясь на этот влекуще чужеродный, может быть, лишь им и уловленный дух приезжей тетеньки, застывая в его певучих струях, игривых перекатах.

Не по-здешнему пухлая в боках и в то же время верткая – повертче иных деревенских копуш¹⁸, – то ли еще девка, то ли уже бабонька в сочной спелости, – мельтешила она, раскышкивая кур, меж избой и летней кухней, трясла мелко завитыми, темными кудряшками и расплескивала по ограде голосистый смешок, нездешний, словно заводной, словно купленный в дорогой лавке. Пробегала мимо Ванюшки, так что раздувался подол вольного цветастого платья, выказывая поросшие темной шерстью и выше колен литые ноги, – парнишке чудилось, будто по ограде мел шелковистый лисий хвост, – улыбнувшись, совала ему горячие творожные шаньги и узористые вафли из сладкого теста и, заговорщицки подмигнув, торопливо окунувшись ночным взглядом в самую глубь Ванюшкиных смущенных глаз, летела дальше, подсобляя матери кухарничать.

– Как тетю-то звать, а? – в очередной раз сунув Ванюшке в рот шаньгу с молотой черемухой, затормошила она парнишонку.

– Малина... – опустив глаза, прошептал Ванюшка.

– Как, как? Ой, ой, ой!.. Да он же язык проглотил! Ну-ка, открой рот, покажи язычок. Тетя Марина – доктор. Открой, открой! – Ванюшка раззявил рот. – М-м-м... – горестно про-

¹⁷ Молодуха – невестка.

¹⁸ Копуша – от слова копать, то есть что-то делать медленно.

мычала она, – и в самом деле, нету языка. Вот какая сладенькая ватрушка попалась – вместе с языком съел. Да-а-а. Чем говорить-то будешь?.. Мама! – зачем-то звала она Ванюшкину мать. – Мама!.. А я думаю, отчего он такой молчун, а у него же языка нету. Мама!

Это величание – «мама», легко вспорнувшее с припухлых молодухиных губ, словно всю жизнь говоримое ею, поразило Ванюшку своей чужестью, будто сам он никогда не говорил его; оно прозвучало наособицу, со странным, непонятым смыслом, и Ванюшка пока еще не мог связать его со своей матерью, пожилой, смуглолицей и морщинистой, с ворчливо поджатыми и скорбно потоньчавшими губами; да и не понимал еще, с каких таких пирогов городская тетенька зовет его мамку мамой. А приезжая тетя по делу и без всякого дела мамкала: то с нажимом, то в шутливую растяжку, капризно – «мам-м-ма-а», и непременно с передыхом после сказанного, будто пробовала, прикусывала слово с разных краев, и, отстранив от себя, зарилась на него.

К матери в летнюю кухню крик не прошибался сквозь ворчание сала на сковородке и потрескивание печи, да она, запурханная со стряпней, и не ответила бы молодухе, досадливо отмахнувшись: дескать, ой, отчепись худая жись, привяжись хорошая! Без вас тошнехонько. Хотя потом, словив молодухин голос, мать все же высунулась из летней кухни и наказала:

– Ты уж, деушка, сластями-то парня не шибко корми, а то уж, гляжу, и так весь измаялся. Такой кондрашка прихватил, что и штаны из рук не выпускает, так и бегает за стайку. Конфет да яблоков сдуру напёрся, теперь мается животом.

– Ничего-о, я ему ватрушку с черемухой дала, черемуха все закрепит. Ну что, язык-то не вырос? – Она опять склонилась к Ванюшке. – Или, может, тебе новый пришить? Я быстренько пришью. Тетя же доктор... И будет у тебя новенький, хорошенький язык – он у меня в чемодане лежит, нарочно для тебя привезла. Я уже языки пришила многи-им мальчикам, которые неправильно говорят или молчат. И тебе пришью, хочешь?.. Только рот откроешь, а он сам и заговорит – прямо как по радио.

В разговор вмешался отец. В отליнявших, как и у Ванюшки, вольных шкерах, свисающих с плоского зада, в расстегнутой гимнастерке, побуревшей потом на лопатках, отец топтался возле поленницы дров, сколачивая из свежих досок две лавки для близкой уже Алексеевой свадьбы.

– Брось ты его, милая, лучше не связывайся, – с хрустом и щелком разогнул он спину, засадил в чурбак ловкий, как игрушечка, плотницкий топор с затейливо изогнутым топористым. – С Пашкой Сёмкиным сойдутся, дак трещат без умолку, как две сороки, а тут, гляди-ка, язык проглотил... Боёвый, когда из дома чего спереть да ребятам раздать. Спроси-ка лучше, как он Маркену Шлыкову мои удочки упёр? До удочек, язви его, добрался. Поймал бы, шаруна, все руки повыдергивал, чтоб неповадно было. Маркен-то хи-итрый – недаром папашу Хитрым Митрием прозвали, – весь в отца: варнак варнаком, а свое не упустит, – худо не клади, в грех не вводи. Едва удочки выходил... А наш-то непуть полодырый – ничо ему не жалко. Не родно и не больно. Пропадет, однако.

– Ну что вы, папа, – заступилась за Ванюшку молодуха, – он парнишка умненький, исправится. Верно, Ваня?..

– Кругом будут обкручивать, обманывать. Да и лодырем растёт, обломка¹⁹ ишо тот. Ходит по деревне, конские шевики пинат, а чо сделать по хозяйству – силком не заставишь, – отец разодорил себя ворчанием и, чтобы не матюгнуться при молодухе, поскорее сел на чурбак возле топора, достал из нагрудного кармана гимнастерки засаленный кисет, пожелтевшую газетку, оторвал от нее узенькую полоску и стал вертеть сигарку, просыпая махру сквозь тряские, узловатые пальцы. – Непуть, одно слово, и в кого такой уродился, в ум не возьму. Старшие ребята, те боёвое росли, тут и говорить неча. Чуть, однако, больше были, встанут рань-прирань, по льду

¹⁹ Обломка, облом – ленивый, домовый.

сбегают на невод, в бригаду, подсобят там маленько и, глядишь, куль мороженой рыбы в санках везут. На скотобойне покрутятся, – вот тебе и мешок осердия, печенка, брюшина. Да еще ведро крови принесут. Ловкие были, нигде не оплошают, да и работающие, вот все в люди и вышли. А с этого фелона²⁰ толку, однако, не будет. Не-е... Алексей, помню, поменьше тех ребят был, а такой ловкий, любого за пояс заткнет. Вот, мать не даст соврать, в войну, бывало, поедет на ток зерно сдавать и ведь пустой сроду не воротится, где-нито да урвет. Зерно из мешков высыпат, а в углах по горсти и зажмет, так оно с десяти-то, двадцати-то кулей и ладно наберется, – отец, похоже, не без умысла нахваливал перед молодухой своего Алексея, и та, смекая куда клонит будущий тесть, пучила радостно-удивленные глаза и вроде таяла от восхищения. – Ой, головастый парень рос, не чета меньшому. Такие, как он, уже и сами себя кормили.

II

Из горницы сквозь раскрытое настежь окошко слышалось однообразное, с постукиванием, громкое шипение, из которого вдруг выплыл женский голос:

Каким ты был, таким остался,
Орел степной, казак лихой...

Песня, словно продолжая отцовы хвалы, как раз и вышла про Алексея... Но голос, взвизгнув, скрежетнув, пропал, и отец с молодухой по механическому взвизгу смекнули, что Алексей пробует патефон, выпрошенный у Хитрого Митрия. Больше Алексей ничего не завел, и отец продолжил ворчание:

– А третиводни под шумок залез в комод, – он, не глядя, мотнул пегой с проседью головой в сторону Ванюшки, который все теснее и теснее жался к молодухиному боку и все ниже клонил голову к земле; лицо и уши горели красным жаром. – Все перерыл и медаль упер. Э-эх, жаль, что не попался, не застал на месте, так бы носом и натыкал об комод. Ишь, Маркен его надоумил в чеканку играть на копейки. Своего-то ума нету – куда кура, туда и наша Шура. Что медаль, что бита для чеканки – одна холера. А понятия нету, как эти медали на фронте давались... Хорошо еще соседка наша, бабушка Будаиха, присмотрела да отобрала, а то бы так и с концами.

– Ну, ничего, ничего, – опять заступилась молодуха за парнишку, – он у нас хороший мальчик, он исправится. Правильно, Ванюша? – и, не дождавшись ответа, посулила: – Хорошо себя будешь вести, в город с нами поедешь. Поедешь в гости? – Она низко склонилась над Ванюшкой, жарко, с запахом сладкого теста, конфет, задышала в маковку, и парнишка обмер. – Там у нас цирк... обезьянки на качелях качаются, красивые такие обезьянки, умненькие. И даже коровы, как ваша Майка, и те под музыку пляшут. А клоуны такие смешные – животик надорвешь. Я в детстве прямо укатывалась над ними. Ну что, хочешь посмотреть? – Она глянула на него сверху, ухмыльнулась, понимая, что уж перед цирком малый не устоит, тут-то она его и заловит. – А то, наверно, бедненький, только по деревне и бегаешь?.. Чем ты занимаешься?

– Да чем они занимаются?! – опять вклинился в разговор отец, вытесывающий ножки для лавки. – Напару с Пашкой по воробьям пуляют из рогатки. Недавно шлыковским стеклину выхлестнули из этой рогатки, дак Митрий чуть не убил обоих, хорошо хоть убежали – на ноги характерные. Пришлось мне Шлыковским окно вставлять.

– А в городе и в цирк можно, и на карусели покататься. Да там не соскучишься. Ну, говори скорее: хочешь с нами в город? Говори, а то я возьму и передумаю. Ну?..

²⁰ Фелон – ленивый, бестолковый.

Ванюшка, не вздымая отяжелевших глаз, едва заметно кивнул головой.

– А для этого нужно хорошо себя вести. Как вас в детском садике учили: если хочешь сладко кушать, надо папу с мамой слушать.

– Да он сроду ни в какой детсад не ходил, – усмехнулся отец. – Разве ж такого варнака возьмут?!

– Жаль, что в садик не ходил, – это чувствуется, – вздохнула молодуха. – Надо, Ваня, так себя вести, чтобы папа с мамой не расстраивались, чтобы только хвалили. Вот как надо себя вести. У тебя же, видишь, какие все братья хорошие, умные, и ты не отставай от них. Ну, ничего, он у нас теперь станет примерным мальчиком и поедет с нами в город. Понравится, так и на зиму останешься. В школу запишем...

Ванюшка молчал, весь сжавшись и даже как будто немного присев, словно плечо его нежила и ласкала не пухлая молодухина рука, а давила холодная жердина. Да и какой уж тут разговор?! От слов отца в горле застрял жгучий, будто снежный, колющий ком, а ласковая ладошка тетеньки, кошачья мягкая, душно пахнувшая цветочным мылом, стряпней, вжималась в Ванюшкино плечо, размягчала вставший поперек горла комок, что было еще хуже, потому что, растопившись, он мог пролиться на прибитую землю ограды сплошным проливнем слез. Но пока Ванюшка еще крепился, старался проглотить шершавый ком, чтобы слезы пролились в душу или уж погодили до сокровенного часа, когда он будет один-одинешенек.

Про цирк с пляшущими коровами парнишка не толмачил, да и мутно слышал из-за донимающих слез, а сманивать его в город было смешно – он жил городом с того суетного вечера, когда старший брат Алексей нагрязнул в Сосново-Озёрск со своей невестой, и в сумеречной глухоте краснобаевской избы цветастым хвостом распустился непривычный, вроде даже и не к лицу ей, пожилой, толстобревной избе, молодой предпраздничный гомон. И Ванюшка задыхался от счастья, вернее, от посула на счастье, но все же не по-детски старался скрыть в себе радость, не смеялся, не прыгал безумно, не хвастался перед друзьями, что в обычае у парнишек. Боясь спугнуть удачу на полдороге, придумывал в уме лихие препоны на своем пути к городу, чтобы радость была выстраданной, и никто не посмел бы вырвать ее из души. А если иногда, спрятавшись от чужих глаз, думал про город, про свою будущую поездку туда, то по-стариковски прижимисто тратил всходящую в душе радость, отпускал ее малыми крохами – коротенько подхихикивал, разглядывая придуманные утешные картины, и даже в это время вторым, отстраненным сознанием не позволял себе верить до конца.

Ладно, вот бредет он по городу, – видел Ванюшка в небе, куда смотрел, лежа на низенькой козьей тайке, заросшей лебедой почти в его рост, – шлендает в новеньких брюках, а неразношенные сандалии: скрип, скрип, а кругом машины, машины, трамваи бренчат на поворотах, аптеки, школы многоэтажные, тетки в белых узористых колпаках и таких же узористых запончиках продают мороженое, потом витрины магазинов, там тебе и сласти, и книжки, и краски рисовать, – тут он себя останавливал: хватит, хорошего помаленьку. А вдруг в последний день передумают и не возьмут в город, так чего себя попусту травить. Но это, если вдруг, тут же отметал он сомнения, а они все равно возьмут, раз обещали. А вдруг все же?.. Да не-е...

От такого сомнения удача должна была выйти негаданной, так она слаще и сытнее. Даже смеяться в полный рот Ванюшка себе запрещал – тихо-тихо, краями губ улыбнется своей блажи, и этого пока хватит, не все сразу – выходило, как в детской потехе: да и нет не говорите, зубки белы не кажите.

Его крупное не по летам, то ли задумчивое, то ли сонливое лицо, большелобое, с некрасиво и не по-детски выдающимся утиным носом, большим ртом и печально-мягкими, влажно-кариными глазами, теперь частенько ясно, тронутое смущенной улыбкой, словно предутренним светом, и казалось, что тоненький, розоватый свет явственно, воистину навеивается из самой души, тронутый и разживленной ласковой рукой приезжей тетеньки. Глаза теперь поблескивали живее, хотя по-прежнему не пропадала из них врожденная виноватость, из-за которой

он уже смалу при встрече с людьми, особенно по натуре прямыми и крутыми, уводил глаза в сторону, вихлял взглядом, боялся, что по глазам его непременно уличат, а в чем именно, – не всегда знал, но чувствовал, что уже во многом можно уличить, да и как будто предчувствовал: то ли еще будет, и винился даже за грядущие искушения, к коим уже повлеклась неистраченная душа.

Ныне свет истекал от притаенной, поглубже припрятанной в себе мечты о городе. Город, город... Он являлся сосновоозёрским ребятишкам во снах и мечтательных разговорах на берегу озера самой красивой и самой желанной сказкой; но даже в сказку про Бурку, Каурку и синегривого коня больше верилось, чем в город с его трамваями и каруселями, мороженым и цирком, пестротой магазинов и нарядным многолюдьем, – на триста верст тайга, хребты, степи, заболоченные распадки бессердечно улеглись поперек дороги из Сосново-Озёрска в город. По тем, для деревни еще малоподвижным временам и взрослые-то годом да родом выбирались в город, а уж про ребятишек и говорить нечего, эти уж только после школы туда наведывались: кто учиться, кто гостить, а кто и осесть.

* * *

– Во-во, – насмешливо отозвался отец, прилаживая на лавке сосновую ногу, – свозите его в город, – может, хоть ума наберется. А то придушивается тут на пару с Пашкой. Да кого там, он же, непуть, под перву же машину залезет. Намаетесь только с ним, с греха сторите.

– Ничего-о, – молодуха взъерошила Ванюшкин чупрынчик и, взглядом сверху, глубоко окунувшись в его глаза, что-то пытливо высматривала, угадывала, потом исподтишка подмаргнула – ничего, они там на пару с папой будут хозяйничать. У него как раз отпуск, вот и будут вместе отдыхать. Дома наскучит, сходят в город, могут и на дачу поехать, на папиной машине прокатится. Хочешь на машине прокатиться? – Она еще раз потрепала Ванюшкины волосенки, прижала голову к ногам, и Ванюшка сразу же стал задыхаться не то от бабьего духа, не то от ласки, которую мало знал и не умел толком принять, поэтому тут же резко отстранился, еще ниже опустил голову. А молодуха, напевая: «...и тот кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет...», уже пылила по ограде то с противнем, то с жаровней, то с веником, роняя на бегу горошистый смешок, точно на шее у нее болталось, коротко взвывало медное ботальце, какие вешают иногда на телок, чтобы легче искать, если те забредут в березовые гривы.

Отец сине поблескивающими глазами провожал по ограде молодуху свежей выпечки и, хитро, скуповато улыбаясь, качал головой: ишь, пампушечка, выгуль-девка, не ущипнешь; не промахнулся Алексей, видели очи, что брали к ночи: и красотой взяла, и удалью, но и не гляди, что без усталости улыбку кажет, а и зубки рысьи покажет, ежели выпросишь; эта его ходом к рукам приберет, лишнюю рюмку не даст выпить, лишний час у нее не вылежишь. И, наверно, сам того не замечая, отец невольно выпрямлял сутулую спину и даже колесом выпячивал грудь, с былой довоенной лихостью заправляя назад крылистые волосы, тронутые инеем, словно сухие осенние ковыли.

Ванюшка, обиженный отцом, посрамленный перед тетей, которую он, картавый, звал тетей Малиной, да и уморенный беседой, убежал в огород, за стайки, пытаясь понять предпраздничную толкотню, веселый гомон, будто гром среди бела дня, упавший на их старинный дом; понять, а поняв, принять назревающий праздник, найти свое место в нем, попутно прояснить, насколько его поездка в город дело уже решенное и верное.

III

Брат Алексей, приехав из города, поцеловал своего меньшого долгим сосущим поцелуем и больно шоркнул по лицу щетиной.

– Как жизнь молодая, Тарзан? По девкам не бегаешь, а? – спросил он и, смеясь всем своим тугим, скуластым лицом, попробовал было подбросить Ванюшку к потолку, но не тут-то было. – Здоро-овый стал за зиму, отъелся, парень, на дармовых харчах, не поднять. Осенью-то, когда приезжал, вроде совсем еще маленький был, – сказал он для своей невесты, смуглой, почти чернявой, пухлощекой, пока еще настороженно, стеснительно посиживающей в горнице возле круглого стола, по случаю гостей застланного плюшевой скатертью, еще довоенной, с вытертыми плешками. – Ну-ка, Тарзан... – Алексей дразнил брата Тарзаном... о ту пору крутили кино про дикого мужика Тарзана, что с обезьянней прытью скакал по деревьям... – иди-ка сюда. Счас проверим, какие у нас привесы...

Брат сжал Ванюшкину голову твердыми ладонями, оторвал парнишку от пола и велел высматривать Москву. У парнишонки от эдаких смотрин уши зажглись зудящим огнем, а брат еще хотел подкинуть его к потолку, словно малое дитя, да слава богу, мать приспела:

– Уронишь, дикой... захлеснешь. Ишь разыгрался, бома²¹ ты побери...

Мать уже всплакнула при встрече, теперь ласково поглядывала на Алексея мокрыми глазами, при этом пытливо, но коротко, мимоходом, косилась на будущую молодуху, и та всякий раз охотно улыбалась встречь быстрым материным взглядам.

Алексей торопливо и рассеянно спросил Ванюшку о том о сем, спросил, не дожидаясь ответов, потом всучил городские гостинцы, и уже после этого мало замечал братишку, чем до слез разобидел того, дня три подряд ходившего встречать городские автобусы и уж все глаза проглядевшего, поджидая братку. Нет, братке нынче было не до него; брат привез из города, где шоферил после армии, а вечерами учился в техникуме, невесту на родительские смотрины и теперь настырно, веселым хмелем вился вокруг нее.

Нарядившись как на праздник, они важно прохаживались по широким, сплошь утыканным желтыми коровьими шаньгами, пустынным улицам, – зелень в этой лесостепной, полурусской, полубурятской деревне еще приваживались сажать, и чуть живые кустики вербы, елочки с дожелта опаленной на солнце хвоей, жиденькие кривые березки, кроме дождя не знающие никакого полива, – сиротливо млели на жаре посреди голых, шербатых палисадников, уже полуободранные пакостливым иманьем стадом. Ходили молодые, показывая пальцами и со смехом поглядывая на спящих в подзаплотной тени коров, на кур, полузакутанных пылью, закативших от духоты глаза, на вяло хрюкающих из подсыхающего болотца свиной, а тем временем из темных окон, от распахнутых калиток, с древних лавок провожали парочку подозрительные взгляды деревенских баб и старух. И скоро, передавая из подола в подол вместе с заемными спичками, солью и керосином, бабы и старухи знали, что девка Лехе попалась грамотная – врачиха, будет Краснобаевых лечить на старости лет, Петру железные зубы вставит орехи щелкать; что годами она старе Лехи и что репа надкушена, разочек опробовала замужество, да прямо из нагретой мужниной постели убежала с краснобаевским парнем. Даже старуха Шлычиха, бабка Маркена, уж на что древняя, древней не сыскать, на лавочку-то уже через силу выползающая, чтобы погреться на солнышке со своим стариком, дедом Кирей, и та, через товаров, пока еще не обезноживших, шерстивших по деревне из края в край, знала про молодых больше, чем они сами про себя. Ванюшка, любивший посидеть с дедом Кирей, слышал, как бабка Шлычиха громко, чуть не криком, обсказывала своей молодухе Марусе-толстой и старику:

²¹ Бома – нечистый.

– Ужотко я тебе чо скажу, девча, по секрету, – ревела она на всю околицу, – ты Лейбмана-то помнишь?.. Исайку?.. но который еще начальником заправлял в «Заготконторе» вместе с Пётрой, еще чуть в кутузку напару не угодили?..

– Ты, мама, шибко-то не реви, я же не глухая, – осадила старуху Маруся-толстая. – А то кричишь, как на колхозном собрании. Помню, конечно... Исай Самуилыч... Да он же здесь маленько жил-то... без году неделя.

– И ты, старый, должен его помнить, – ворчливо накинулась старуха на деда Кирию, который хоть и подремывал, сомлев на припеке, посапывал в седую, редкую бородушку, но прислушивался к разговору подставленным ухом, с торчащими из жухлой раковины долгими сивыми волосами. – Вы ишло с Митрием нашим шкуры ему бычьи сдавали.

– Как же не помню?! Давно ли времечка утекло. Помню, а как же, я ишло из памяти не выбился. Хороший был мужик, Исайка, ласковый, обходительный, надул нас, правда, с Митрием на шкурах, но да бог с ним... Помню, а как же... При ем и Петя Халун состоял, учетчиком, ли чо ли. Оне там напару заправляли. Ванька Житихин ишо подсоблял... Ванюхин дядька сродный, – дед Кирия кивнул на Ванюшку, сидящего на шлыкской лавке возле старика и тоже слушающего разговор. – Потом, значит, у их растрата. Исайку с Пётрой прижали к ногтю. Но чо делать?.. Рука руку моет... Отвертелись от суда, на Житихина списали, того в кутузку и закатали. Украли поросенка, указали на бобренка... Рассудительный был Самуилыч, шибко умнай. Недаром Мудрецом звали.

Старуха сбила деда Кирию с мысли, опять пошла наговаривать Марусе-толстой, но уже потише:

– Дак вот, милая, это евойная девка и будет.

– Откуда, мама?! Ее здесь в деревне-то сроду не было. Я сына ихнего видала, в нашу школу бегал, чуть побольше Ваньки был.

– Дак она же, девка, как раз в городе училась на врачиху. Там же у их и фатера есть.

– А-а-а, но-но-но, кто-то мне говорил... – dospела Маруся-толстая.

– Она и с облички-то – вылитый отец.

– Отец-то у них теперь в городе больша-ая шишка, и как это Леха подмылился?

– Пётра же с Самуилычем тут первы товарищи были, вот Леха в городе и запохаживал к им. Он, бают, отца-то ейного, Самуилыча, на машине возит – тот же начальник, и к дочке подкатился, та и мужиком попустилась.

– Ишь чо выкамаривают, – осудительно покачала головой Маруся-толстая. – Отец-то куда смотрел?

– А Самуилыч, бают, на аршан²² укатил, ноги лечить, вот Леха сюда и прибежал, убёгом²³ надумали венчаться.

– С первым-то она чо, нерасписанна жила?

– Господь их знат. Може, и нерасписанна. Счас, дева, все невенчаны. В блуде живут, как нехристи, и помрут, как нелюди. Прости, Господи, мя грешную, – старуха Шлычиха перекрестилась с виноватым вздохом.

Мимо пробежала Варуша Сёмкина и тоже присела посудачить, да тут же многое прояснила.

– Они седни еще с утра в сельсовете расписались. Я туда за справкой забежала, гляжу, выходят оттуль, наряжены. Я потом у секретарши-то спросила – говорит: расписались.

– Ты, Варуша, в магазин заворачивала? – спросила Маруся-толстая. – Чай не выбрасывали?

– Плиточного нету... байхового, а в пачках лежит. Худой чай.

²² Аршаны – целебные воды, курорты.

²³ Убёгом – тайно.

– Быстро они, – опять повернула Маруся-толстая разговор к молодым, – не успели приехать, а уж расписались. Свадьба скорая, что вода полая... По-путнему-то надо б погодить. Смотрины сперва, то да сё.

– Куда уж там, Маруся, годить-то, – улынулась на это Варуша, – там уж годить-то некуда – по шесту ли, по седьму ли месяцу ходит, утробна.

– А с виду и не заметишь, – подивилась Маруся-толстая.

– От чо вытворяют-то, а, прости, Господи! – старуха Шлычиха шумно перекрестилась. – Тут уж пузо на нос лезет, а оне лишь собрались круг ракитова куста окрутиться. Ни-ичо нонче не боятся, прянь как сбесились. Да в ранешни-то годы эдаку пристежку ночну отец бы вусмерть запарол.

– Теперечи, мама, другие времена, – скривилась Маруся-толстая, – теперичи котора гуляша, дак та еще быстрее выскочит, чем тихоня. Такого мужика отхватит, куды с добром... Да-а, ловко Леха обкрутил папашиного дружка, бравенько устроился: и фатера городская, и тесть шишка, и денюшек, поди, невпроворот. Не наша печка, что есть неча, – заприбеднялась она, хотя Шлыковы жили крепче многих в Сосново-Озёрске, и мужик ее, Хитрый Митрий, первым в улице купил мотоцикл, а потом и лодку с дизелем. – Обкрутил деваху... Опять же, сука не захочет, кобель не заскочит. И та, поди, ладно подсобляла, вот и поставили папашу перед фактом, – со дня на день срам в подоле принесет. Теперичи папаше и деваться некуда, хоть глаза завяжи да в омут бежи. Отдавать надо девку, стриженная, раньше говорили, косы не заплетай – всё, опозорилась.

– Какая там, бара, коса, ежли из мужниной постели да в другую нырк?! – поправила ее Варуша.

Оставшись вне разговора, старуха Шлычиха просто сокрушалась в голос, слушая то свою молодуху Марусю, то соседку Варушу.

– В досельно-то время рази ж бы такое баба утварила?! Да мужик бы тут приехал, за косу к телеге прикрутил и силком угнал. Ехал бы, волочил блудню по дороге да плетью по спине выхаживал и приговаривал: домой прибудем, там тебя, блудливая коза, ишшо и орясина поджидат, какой ворота подпирают. Забил бы, вусмерть забил, живьем в могилу загнал, и слова поперек не скажи – заслужила. А нонес-то мужики, видно, попустились, делай, баба, что хошь.

– Но ты, мама, тоже скажешь. Чо уж старое время поминать. Да присбирывают, поди, про мужика-то, лишнее плетут. Но Леха ловкач, добыл себе невесту, прянь как цыган кобылу из чужого табуна. У папаши с-под самого носа увел, убегом решил открутиться. Как-то еще тестюшко на это посмотрит, а то и выпрет обоих поганой метлой, не поглядит, что родная дочка. Умела хвостом трепать, умей и ответ держать, только потом не вой, что без спросу кинулась.

– О-ой, Маруся, ты кого говоришь? Кто Лейбмана надул, тот еще, девча, не родился. Мой-то Никола, когда рыбнадзорил, на ём и споткнулся. – Варуша горестно вздохнула и поглядела вдоль улицы, на краю которой голубело озеро. – Он же их с Пётрой прижал на той стороне, акт составил, сетешки, какие были, бродник отобрал. Вот его потом и съели с потрохами. Так что, соседущка, тут еще бог знат, кто кого и надул. Да и девка, похоже, не промах, вся в отца, – какое уж семя, такое и племя.

Тут как раз из калитки вышел Алексей, легок на помине, и, подхватив невесту под бок, повел ее в сторону озера. На шлыковской лавочке все притихли, и когда они отошли подальше, Варуша ругнула Алексея:

– Бессовестный, не в обсудку буде сказано, тут его девка четыре года с армии ждала, а он на те, явился не запылится с молодой женой.

– Вот крутель, – поддержала ее Маруся-толстая, – та, поди, уж все глаза повыплакала, а тут еще этот идол на глазах крутится и девку за собой таскат, бесстыжий. А чья девка-то?

– Тетки Смолянихи. Вся деревня судачила... У нас же как: добрая слава лежнем лежит, худая ветром летит.

– Дак она у Смолянихи приемная, кругла сирота.

– Сироту и обидел, не пожалел, – поплевалась Варуша. – Слух был, в город моталась по пинки²⁴ – ребенчишка выдавливала.

– Ло-овко – усмехнулась Маруся-толстая. – Как в песне:

Милый в армию поехал,
Не оставил ничего,
Только маленький подарочек —
Ребенок от него...

Дед Киря, который уже давно сердито ерзал на лавочке и виновато косился на сидящего подле Ванюшку, все пытался остановить разошедшихся бабонек, показывая глазами на парнишонку, но те не обращали внимания ни на старика, ни на Ванюшку и судачили, перемывая косточки Алексею и невесте. Наконец старик не вытерпел и сказал в сердцах:

– Ох, сороки, ох, сороки, треплете чо попода, шипишны ваши языки. Хоть парнишонку постеснялись бы. Ишь раскудахтались, наседки. Верно что бабий язык – ведьмино помело. На себя бы оглянулись. Верно баят: чужие грехи пред очьми, свои за плечьми...

Тут все как бы заметили Ванюшку и немного поприжали языки.

– Ну, Ванюшка, чего тебе братка привез? – сладким голосом пропела Маруся-толстая.

– Брюки мне привез из города, ловкатские такие, рубашку еще, сандали... – Ванюшка стал взахлеб перечислять гостинцы, привезенные Алексеем и тетей Малиной.

– Значит, с головы до ног завалили гостинцами, – усмешливо остановила его Маруся-толстая. – Тетя Малина, говоришь? Ну и как, поглянулась тебе тетя Малина-калина, или как там ее?

Ванюшка покраснел, смущенно потупил глаза и хотел было выпалить им, что тетя Малина добрая, хорошая, а вы все злые, но не осмелился, соскользнул с лавки и побежал к озеру вслед за молодыми.

Что в бабьих пересудах было правдой, что присбиранной кривдой, сказать трудно, – даже сами Краснобаевы, отец с матерью, больше догадывались обо всем по намекам Алексея, который все начистоту выкладывать не думал, – но, как говорят, земля слухами полнится и нет дыма без огня.

IV

Подхохатывая, словно извиняясь, Алексей показывал невесте деревенское житье-бытье, водил в степь собирать кудрявые степные саранки и белые цветы-спички, из которых невеста плела себе веночки, а под вечер катал ее на отцовской лодке – в это время прибрежная улица слушала, как Алексей распевал, а невеста звонко подтягивала:

Мы на лодочке катались...
Не гребли, а целовались...

Потом Алексей с уркаганьей куражливостью и разбитной хрипотцой повел:

Марина, Марина, Марина...

²⁴ Ездить по пинки (булавки) – делать аборт.

Чудесная девушка ты...

Хотя время для рыбалки не пришло, Алексей уторгал чудесную девушку на другую сторону озера, вдоль плеса заросшую камышом, а на песчанном яру – непролазным тальником. Перед тем он с помощью Ванюшки нарыл червей в унавоженном огороде и настропалил удочки. Ванюшка пристал: возьмите да возьмите, Алексей и так, и эдак отговаривал, но все без толку, и пришлось посулиться. А утром, когда Ванюшка проснулся, брата и тети Малины уже след остыл – укатили на рыбалку без него, и парнишка заплакал от обиды.

Вернулись молодые поздно, глядя на ночь, без единого рыбьего хвоста, но зато веселые, игривые, и, наскоро попив чай в летней кухне, тут же с устатку завалились спать. Спали они в тепляке – небольшой избенке, куда на лето кочевала семья Краснобаевых, выкрасив полы в зимней избе. Когда теплячок выделили молодым, они обмели веничком пропыленные сосновые венцы, особо углы, где пауки уже выплели густые тенета, подконопатили неряшливо торчащие бороды мха, вышоркали с песочком некрашенные половицы, прибрались на свой лад, а потом уж повесили на быстро смастеренные Алексеем плечики городскую одежонку, и наособину – белое платье с рюшами по вороту и рукавам да черный костюм – в эдаких делах, подивив весь Сосново-Озёрск, потом ходили в сельсовет расписываться. Стену над койкой обклеили блескучими картинками – Марина из города прихватила с гостинцами, – где сочногубые, грудастые китаянки с цветастыми веерами, копнистыми начесами и насурьмленными бровями гляделись в зеркала, а из-за кустов, усыпанных китайскими розами, высывались кокетливые хунхузы, у которых тоже маково алели накрашенные губы и чернели раскосые, подведенные глаза. Ванюшка, смалу пристрастившись к карандашу, пытался срисовать ярких китайцев на бумажную осьмушку, но ничего путного не вышло.

На одинокое окошко Марина повесила беленькие, в синий горошек занавески, и любодорого стало зайти в тепляк, еще недавно запущенный, захламленный, куда отец сваливал и конские сбруи, и бродник, и сетёшки, а мать развешивала там сушеные травы, кидала невыделанные овечьи шкуры, шерсть и всё, что полагалось убрать подальше от зарных глаз.

Отец дивился эдакому обороту тепляка в игривое и опрятное гнездышко, хвалил молодуху и даже присоветовал смехом насовсем заочевать в домишко, на что молодуха бойко ответила, что, дескать, можно, если второй этаж пристроить...

– Это ежели ребятёшки посыпят, как из щелястого кузова, тогда, конечно, тесновато будет, – развел руками отец, весело взблеснув засиневшими глазами, прицениваще оглядев и китаянок, и молодуху.

– А что... – пожал плечами Алексей, пригребая к себе невесту, – свет в деревне рано тушат, ночи зимой длинные...

– А пеленки, ползунки и распашонки будешь стирать?

– Не-е, это уж бабье дело, не мужичье...

– Ничего, миленький, у нас не Азия, у нас будет равноправие...

Невеста попалась Алексею веселая, сорока (или уж она на праздничных радостях распустила язык), так без умолку и тараторила день-деньской напролет, пригоршнями высыпая на Алексею и без того идущую кругом голову несметные вопросы, один чуднее другого.

– Лёш, а Лёш, а зачем круги соли лежат на скотном дворе? – спрашивала она, присев на корточки перед закаменевшими и посеревшими кругами, с вылизанными посередине ямками. – Или корова тоже без соли не ест?

– А как же, – поддакивал Алексей, не сводя искрящихся глаз с невесты, – она без соли не в жизнь за стол не сядет. А если сено невдосол, так и жевать не станет, осердится, губы надует. Недосол на столе, пересол на-а... – тут он легонечко похлопал по мягкой невестинной спине, будто невзначай, но, похоже, привычно скользнув ладонью и ниже.

– Нет, правда? – как маленькая капризничала Марина, дергала плечами и морщила нос.

Алексей сгребал ее, повизгивающую, в охапку и кружил по скотному двору.

Молодуха, пока ей было все чудно, совалась в любую дырку небогатого хозяйства Краснобаевых: серпом, доставшимся еще от покойного Ванюшкиного деда, надев верхонки, драла крапиву свинье на корм, потом бриткой сечкой мелко резала и запаривала ее крутым кипятком, а в древней чугунной ступе толкла пестом сушеную черемуху на шаньги и даже пыталась разжигать самовар, при этом творила все с нарошечным испугом, девчоночьим восторгом, умиляя всех: и отца, и Ванюшку, и Алексея, и только мать смотрела на молодухину игру с полынной усмешкой. Марина даже хотела подоить корову Майку, но та, кроме матери, никого не пускала к себе, а молодуху, путем не знающую, с которого бока подлазить, и подавно.

Алексей смеха ради предложил невесте подоить иманух, когда те, пощелкивая раздвоенными, отросшими и загнутыми копытами, потряхивая бородами и сережками, важно прошли через ограду на скотный двор; но тут и случилось неладное: невеста, закрытая вместе с иманами и иманухами в козьей стаюшке, прижала к яслям старого тыкена – старого, душного козла, стала шарить у того вымя, но не то нашарила; тыкен от негодования заблеял дурноматом, вырвался и, оскрамленный перед иманухами, поддел кривыми рогами глупую деву, опрокинул ее вместе с котелком на сенную труху. Марина пулей вылетела из стаюшки, бледнее снега, и уже не просилась доить иманух – сбил ей козел охотку.

Ванюшку смешило любопытство тети Малины ко всему деревенскому, привычному ему, но он уже души не чаял в ней, похожей на сдобную булочку с темными изюминами глаз, и, как на поводу, завороченно бродил по пятам, сердчая, когда брат отгонял. Молча и нетерпеливо ждал ласки, словно оголодавший кусок хлеба, но когда тетя Малина на радостях чмокала в обе щеки, целовала в губы, ухватив за уши и присев перед ним на корточки или ероша Ванюшкин чубчик, – парнишка сжимался, и от какой-то неведомой обиды нестерпимо хотел плакать; он и давал волюшку слезам, утаившись в зарослях лебеды.

В эти предсвадебные дни видел он чудное, что еще не мог постичь детским умишком, но что странным образом уже волновало его. Однажды среди бела полудня, когда ни матери, ни отца, ни сестер дома не было, присмотрел из кухни через щелку в плюшевых шторах, как тетя Малина, повизгивая игривым щенком, бегала вокруг тяжелого горничного стола, а брат, опрокинув стул, стянув руками скатерть, гнался следом, ловил свою невесту широко и азартно распахнутыми руками, при этом глуховато, срывисто посмеивался. Ванюшке подумалось, что взрослые, будто малые дети, играют в догоняшки, он даже разулыбался, дивясь; но тут невеста попала, голосисто ойкнула, потом охнула – бугристые руки брата, ухватив ее под мышки, оторвали от пола, – и заболтала оголенными до кружевных исподничков, поросшими курчавым волосом, пухлыми ногами. Ванюшка видел натуженную, забуревающую на солнце братову шею, от плоского затылка почти тут же переходящую в крылистые плечи, в которые сейчас впились лямки шелковой майки; мельком увидел и присмирившее на братовом плече лицо тети Малины: глаза, укрытые долгими черными ресницами, пух над верхней губой, усами проступивший на побледневшем лице... Брат лез лобызаться, но невеста уворачивалась, то морщась, то хихикая, словно от чикоток; тогда Алексей сгреб ее в беремя, и они увалились на кровать, сминая гору подушек, укрытых тюлевой накидкой. И уже из глухоты подушек, из-за спины брата донеслось сдавленное гусиное шипение:

– Отпусти!.. Порвешь платье.

– Не любишь ты меня...

– Не любила бы, так и не пошла бы. Не уродка, не старая дева – нашла бы. Это ваши деревенские готовы за встречного-поперечного выскочить, лишь бы в девках не засидеться... Да отпусти ты!.. Отпусти, я кому говорю!.. – властно велела она.

– Ну уж нет...

– Отпусти, дурак!

И так Ванюшке стало жалко тетю Малину, так жалко, что он готов был кинуться на брата с кулаками, но, умея пока лишь реветь телком-буруном, отбитым от коровьего вымени, побежал, едва сдерживая плач, сронив с пустого курятника медный котелок, – вслед ему переполошно загремело.

В ограду почти тут же показалась тетя Малина в ярком, цветастом платье, как ни в чем не бывало запорхала по ограде, позвякивая своим нескончаемым смешком; а вскоре сошел с крыльца и брат, сел на чурбак возле поленицы, сердито закурил.

Ванюшка, присматривающий за молодыми со скотного двора, кое о чем уже смутно догадывался, и жалел не только тетю, но и самого себя: отчего он такой маленький?.. почему не он тетин жених, а брат Алексей?.. потому что казалось, когда он вырастет, то уж такую красивую и ласковую невесту сроду не найдет.

V

Свадьба между тем, обходя слабое Ванюшкино разумение, торопливо вызревала, чтобы со дня на день всхлипнуть гармошкой для зачина и вдруг пыхнуть, распуститься крикливым деревенским застольем с песнями и разнобойным, удалым чоканьем каблуков, потом гомонящим роем выкатиться в ограду и так загудеть, что и земля дрогнет, и небо закачается хмельной чашей, проливая на землю загустелую синеву, сверкающую звездными искрами. Скоро, теперь уже совсем скоро, зашатается до краев налитый вином и брагой, затрясется в пьяном веселье всеми скрипучими половицами и замшелыми венцами старый дом Краснобаевых; а пока сумрачно и отчужденно помалкивал в чередѣ изб, степенных и пустомельных, форсисто принаряженных и нищесбродных. Ворчливо косясь на соседние усадьбы, призадумался дом напослед, замер в томительном и пугливом ожидании.

Отец не шибко обрадовался, что молодые прикатали справлять свадьбу в Сосново-Озёрск, – такие хлопоты и расходы свалились вдруг на его костлявые плечи! Жили тогда хуже, чем до войны при старших сыновьях, теперь разлетевшихся по далеким городам. Раз в три года покажут нос в деревне, а потом лишь редкие письма. Вот большак Степан шлет весточку с иркутского севера: дескать, жив-здоров, лежу в больнице с переломом поясницы, ездил в Сочи на три ночи, но это, мол, смехом, а ежели серьезно, то скатал на кислые воды отдохнуть, и хорошо бы маме там ноги полечить и спину... Егор завет во Владивосток: дескать, соленая океанская вода шибко полезна от ревматизма... Мать, чем дальше утекало время от последнего приезда сыновей, ощущала за строчками писем отстраненность детей от себя, будто писали они не столь от тоски по дому, по матери, отцу, сколь по долгу, о котором нет-нет да и забывали. И переживая за ребят, радуясь весточке, мать все же с горечью чуяла, что письма приходят из чужой, неведомой ей жизни, той жизни, какую ей сроду не постичь, да сыновья и не пытались растолковать ее матери, отчего она иной раз плакала, словно ребят угнали на чужбину, где всё не по-нашенски, откуда им уже нет возврата. Между письмами приходили посылки, от которых скопилось у отца поношенных рубаш и кальсон – до смерти носить не сносить, а мать уже сундук по самую крышку забила платками и платьями молодых, застиранными, но ловко где надо зачиненными и проглаженными. Посылая платья и белье, молодухи, все как на подбор домовитые, грех жаловаться, приписывали: дескать, жалко на тряпки рвать, а в деревне сгодится, носи, мама родная или папа, такой же родной. Мать тут же засаживала Таньку за стол отписывать низкие поклоны: мол, зачем вы такие brave платья посылаете – носили бы сами, а мне их куда надевать, стайки чистить, корову доить?! Отец, разглядывая пожелтевшую, заштопанную рубашу, посмеивался: что не мило – вали попу в кадило. Как у бабки Шлычихи, которую для освежения избяного духа сын Хитрый Митрий перевел вместе с дедом Кирей в теплячок, бывшую куричью стаюшку. Бывало, приманит старуха ребятишек и, перекрестясь на стертую икону, видя там лишь по памяти Богородицу и Сына Божия, посадит

их за стол и среди прочих гостинцев отпотчует крашеными яйцами. «Ешьте, милые, ешьте – а потом и выболтнет нечаянно: – С Пасхи еще держу, жалко выбрасывать – харч, поди, какой ни на есть...» А дело на Троицу, уже трава позеленела. Ну, конечно, яиц тех никто не ест, только колупнут из любопытства да зажмут носы от гнилостного духа и ходу из старухино зимовья. «Но то старуха, последний умишко Богу отпустившая, а тут-то молодые, грамотные молодухи, – ворчал отец. – От таких посылок не больно-то разбогатеешь – в год скопи по копейке, скорее станешь богатейкой, как мама говорила, Царство ей Небесно».

Когда-то ладное хозяйство Краснобаевых худело на глазах, светилось сиротскими про-рехами. Вростала в землю изба, сложенная из дедова амбара, – родовой дом при раскулачива-нии отобрали, – пугливо скособочилась, по тесовой крыше поползла жирная зелень; отрухля-вили стайки, крытые листовничным корьем, – пни сильнее, и потрусится из нижних венцов желтоватый печальный прах, а нога в самую стайку и угодит. Да и от скотины лишь осталось: стародойная коровенка, иманы²⁵ с иманятами, поросенок да куры с утками. Мужичьей работы не справляя, торговал отец в то лето керосином, открывая каменную керосинку раза два на неделе, получал за то жалкие гроши и к сему, коря Сёмкина, и сам привадились заглядывать в рюмку. И кабы не коровенка да не рыба – ее отец завсегда умел добыть – можно было смело класть зубы на полку, пусть отдохнут. Рыба, слава богу, и поила, и кормила, и мало-мало оде-вала, если бочку-другую соленого окуня и чебака толкнешь в город со знакомыми шоферами. В свое время привыкший жить с большими, работающими ребятами, теперь без пособников отец вроде как обеззучел; привык бригадирить, разучиваться поздно, а гонять стало некого (Ванюшку и двух девок он в расчет не брал – с них как с быка молока, не ранешние, не лежит душа к хозяйству, всё нужно силком заставлять); и отец потихоньку разленился, махнул рукой на хозяйство, загулял не чище того же Сёмкина, правда, как похвалялся, ума не пропивая, за ту же рыбу, за бутылку добывая и зерна, и мяса, и комбикорма или отрубей для поросенка. Само же хозяйство держалось теперь на матери.

Вот так уныло, хмельно, не шатко и не валко текла отцовская жизнь в конце пятидеся-тых годов. Но месяца за полтора до приезда молодых, получив от Алексея, любимца своего, желанную весточку, отец подбодрился: и крышу на стайке подновил, залепив свеженадрапным листовничным корьем дыры, и насчет леса договорился, чтобы напару с Алексеем поменять у стаек трухлявые венцы, и огородный часток подладил, заменив сгнившие колья на свежие, и даже, хитрыми путями разжившись краской, зеленью выкрасил ворота, калитку, а голубым – палисадник, ставни и наличники – счерневшая изба теперь как будто накинула на свое мор-щинистое тело яркую шаль, смущаясь и тяготясь таким нарядом, какой лишь к лицу молодым и веселым. И все же суетливо поджидая Алексея, на которого возлагал свои особые сокровен-ные надежды, отец и не думал, не гадал, что молодые нагрянут в деревню справлять свадьбу и что ему, отцу, надо будет раскошеляться. Ждал подмоги, надеялся, что сынок подбросит денег, а тут на тебе, самому надо трясти мошной, а мошна тошша... – одна вша.

Алексей, чуя пустой отцовский карман, лишь руками разводил: дескать, видит бог, я тут, папка, ни при чем, это все она, Марина, заегозила: в деревню да в деревню; мол, папа про нее частенько вспоминал... По мне так можно было и в городе тихонько посидеть – не велики баре. Дескать, упреждал ее: не жди ни троек с бубенцами да лентами, ни гармошек – ничего такого, что в кино кажут, – тоска одна: пыльная полубурятская деревня в степи, без палисадов с деревьями и кустиками, стоячее озеро в зеленой ряске и тине, комары да мошка, вот и вся радость. Делать там нечего, в степной деревне; через неделю такая скука навалится, что хоть волком вой. Нет, заладила: в деревне, говорит, хочу свадьбу сыграть, чтоб на всю жизнь запомнилась, а потом, дескать, хоть погляжу, как там люди живут, а то все проездом да проездом.

²⁵ Иманы – козы.

Отец, слушая цветистые Алексеевы басни, жмурился, как жмурится третий, себе на уме, хитрый мужик, – прищуристыми глазами, вернее даже, морщинками возле них усмехался и, конечно, смекал, что Алексей, разводя сдобные оладьи, зубы ему заговаривает, лазаря поет. Вычитав из письма, что Алексей присватался к дочери своего старинного товарища, с коим заправлял в «Заготконторе» и у которого Алексей ныне робил личным кучером, радостно подивился сыновьей ловкости – в такую, паря, семью угодил, там, поди, спят и едят на коврах, коврами укрываются, там, поди, одного птичьего молока нету, остальное вдосталь. Исай Самуилыч, по слухам, какие привозили земляки из города вместе с цветастым ситчиком, ходил теперь в директорах автобазы. Словом, жил на широку ногу... Но вот сейчас из досадливых и отрывистых ответов сына доспел отец, что товарищок его, Исая Самуилыч, уже лет с пять, как разбежался со старой семьей и сплелся с молодой красой, русой косой, а Марина с матерью и братом поменьше не то что бы с хлеба на воду перебиваются, но живут не до жиру, быть бы живу. Самуилыч мало-мало кидает, да опять же и не балует – видно, молодая жёнка доит мужика за все титьки, тянет жилы цепкими ручонками. Мать прихварывает, путём не робит, да и у Марины заработки негустые. Отец припомнил Маринину мать, хохлушку, широкую, дебелиую, в отличие от Исая, сухонького, заросшего черной шерстью, похожего на отощавшую ворону, какие высматривают и выкаркивают себе падаль на скотских могильниках. Дочь-то, видно, от матери взяла дородность, а уж чернявость, юркость – от папашки.

VI

«Да-а, загадал, что с Самуилычем породнимся, а тут вон оно чо...» – тайком от Алексея сокрушался отец и, томясь неведением, непониманием, на второй же день сунулся к молодым в тепляк, чтобы поговорить начистоту, с глазу на глаз. Алексей в послеобеденный зной спал, отвернувшись к стене, а Марина в долгополом, блестящем халате сидела за колченогим столом, показывала Ванюшке карточки из альбома и шепотом поясняла. Глаза Ванюшки, распертые удивлением и восторгом, сияли, но глядел парнишка в альбом мимоходом, а больше – на свою тетю Малину. Когда отец вошел, присел на лавку возле стола и скопился в альбом, Ванюшка сник, напряженно затаился.

– Посмотрите с нами, – чтобы как-то снять неловкость, позвала Марина. – А вот, кстати, и папа. Вы же с ним дружили. Узнаете?

Отец взял карточку тряскими пальцами, поднес к самым глазам и долго, вдумчиво разглядывал, шевеля сухими губами. Узенький, чернобородый мужичок в светлом пиджаке и расклешенных черных брюках топорщился на диковинном, оплывшем книзу дереве, с обезьяньей ловкостью ухватившись рукой и будто даже ногой за сучок, вторую же ногу и руку откинув в сторону и как бы зависнув над землей. Цирк да и только, подивился отец. Да, это был все тот же Исай, худенький, ловконький, в круглых очечках над крючковатым носом, с отвисшей, толстой нижней губой. Даже здесь, на карточке, он будто и смеялся, а в ночной бороде, в сумеречных глазах неколышимо стояла брезгливая усмешка.

– А вот еще одна, – Марина, не дождавшись, когда отец разглядит карточку, сунула другую: Исая Самуилыч в тесных исподниках странно полулежал на огромном камне или на скале, упершись ногами в чуть приметные выступы и распяв руки; у ног его, едва укрыв пышные прелести горошистыми лоскутками, лежала полунагая дева; и над ними, взметнув крылья, замер царственно окаменевший российский орел, а в низу карточки среди виньеток было лихо черкнуто: «Сочи». – Это мы прошлым летом на курорт ездили, и Лёша с нами был. Сейчас найду фотографию – там мы все сняты. Вот она, – на снимке замерли две пары: Алексей с Мариной, Исая Самуилыч со свежей жёнкой, что и красовалась на карточке под российским орлом, черняво цыганистой, узенькой, змеистой, с негаданной при худобе грудью, выменем дойной коровы нависающей над впалым животом.

«Голодом ее Самуилыч морит, ли чо ли?...» – прикинул отец.

– Да-а, папаня твой почти не менялся, – прокашлявшись, вздохнул будущий Маринин свекор. – И годы не берут. Голова маленечко разулась, полысела, а так... каким ты был, таким остался, орел степной, казак лихой... Как у него здоровьишко-то?

– Да ничего, он у нас крепкий, – настороженно ответила молодуха.

– А мы с твоим отцом в «Заготконторе» вместе заправляли.

– Папа мне рассказывал.

– Больши-ие мы с им были друзья. Он тогда начальником числился, а я вроде как заместитель. Отец-то у тебя умный мужик; нашим-то деревенским начальникам гоняться да гоняться за ним. Недаром Мудрецом кликали... Браво мы с им работали, тут и говорить нечего, – отец, конечно, умолчал, что «бравая жизнь» оборвалась махом – ели, пили, веселились, посчитали, прослезилась, – наехала комиссия, проверила документы, наличность принятого сырья: овчин, кож, шерсти, и долбить бы закадычным друзьям мерзлую земельку, да вывезла кривая – сел тогда Ванюшкин дядя Иван Житихин, приемщик «Заготконторы», который, может быть, и имел-то жалкие крохи с барского стола. Самуилыч срочно укочевал в город, а отца вскоре погнали из партии поганой метлой, и начальственных портфелей больше не давали. Иван Житихин отсидел года два, вернулся в Сосново-Озёрск и, похоронив жену, уехал на кордон лесничить, где сошелся с овдовевшей буряткой. Обиды Иван не таил, а приезжая в деревню, сразу же заворачивал к Краснобаевым; сестре своей, Ванюшкиной матери, и ребятишкам привозил гостинцы.

– Да, жили мы с им душа в душу, – и тут отец не досказал, как бывало, ночами напролет пили и кутили по гулящим бабонькам, куда улетала часть неучтенного навару.

– Папа часто вспоминал вас. Если, говорит, есть в Сосново-Озёрске умный, деловой мужик, так это Петр Калистратович.

Отец горделиво взблеснул глазами, но тут же и насмешливо кашлянул, – шибко уж прямая, в глаза лезть, можно бы и потоньше, и, уже не мешкая, спросил напрямую:

– Вам-то с матерью подсобляет?

– Конечно... – смутно отозвалась Марина, – помогает.

– Мать, поди, переживает?

Марина смекнула, на что будущий свекр намекает, вздохнула невесело, – не зажила, не закоросталась рана, – и ответила без родового лукавства, не юля:

– Ну а что поделаешь, раз папа другую полюбил?! Жил бы с нами, сам мучался и нас с мамой мучал. Какая это жизнь?! Лучше уж так, чем тайком бегать. Вначале мама сильно переживала, даже слегла, – нервное истощение, сердечная недостаточность, а потом ничего, стала поправляться. Успокоилась, смирилась. Папа несколько раз на дачу приезжал вместе с ней... ну, со своей женой. Мама вначале дулась, а потом ничего, вместе чай пили на веранде.

Отец, стараясь не подать вида, изумился эдакому диву: всякого на своем веку повидал, сам погулял вволю, но чтобы богоданная жена села за один стол с разлучницей, такого сроду не знал, это ему было внове.

– Вот Лёша его и привозил на машине. Мы как-то весь день вместе на речке загорали, потом на участке клубнику собирали.

«Ползунику вы там с Лёхой собирали, на карачках ползали, – грубовато прикинул отец и по-мужицки оценивающим взглядом покосился на молодуху. – Докатались вы, милые, по дачам, там, наверно, и схлестнулась за папиной спиной, и мать не углядела. А может, и не вставала поперек. Лёха молодой, здоровый, ловкий, какого еще лысого искать, тем более, ежели уж вроде разок сходила замуж...»

– Папа Лёшу хвалит. Говорит: техникум окончишь, в механиках покрутишься, опыту наберешься, инженером поставлю, потом и на свое место посажу, а сам, мол, на пенсию со спокойной душой. Лёша, он упрямый: днем баранку крутит, вечером на занятия, а потом еще

всякие контрольные – за столом засыпает. У него комнатенка маленькая, в коммуналке старуха-соседка зайдет, растолкает, чтобы разделся, лег... После техникума хочет еще и в институт...

– Отец-то ничего, не обиделся на вас, приедет сюда?

– Приедет, обязательно приедет. Он как раз с курорта прилетел, я ему все сказала. Одобрил... Приедет, вы даже и не переживайте. Папа мне иногда говорил: эх, бросить бы все да махнуть к Петру Калистратычу на его озера, порыбачить, отдохнуть. Замотался он со своей работой, да и болячки уже накопились...

– Ну, я бы его тут скорее докторов вылечил... О-ой, браво мы с ним раньше рыбачили. Хотя он и рыбак – из котелка больше, но рыбку любит. Укатим на другую сторону озера, бутылочку возьмем... – отец в хвастливом запале чуть было не сболтнул: дескать, Самуилыч, как и случалось раньше, может прихватить и сухараночку для утети, но во время прикусил язык. – Я ему, доченька, такую рыбалку покажу, где рыба сама из озера в уху скачет, – успевай присаливай, помешивай да рюмочки наливай...

– Папе вредно, у него гастрит.

– О-ой, выпьет, окуньком с рожня закусит и забудет, где желудок, где печень. С нашей ухой и язвеннику выпить не грех – заместо снадобья. Рыбий жир охальной... Ну, да чо олады разводить, лишь бы приехал.

– Приедет, обещал...

– Вот и ладно, а то неловко получается...

– На работе бы не задержали. Сейчас после отпуска опять впряжется.

– Да уж вырвется – поди, не кажин день дочерей отдают замуж, – отец поднялся, собрался выйти из теплячка, нагнулся, но потом, обернувшись, спросил: – Ты, Исаевна, деда-то помнишь?

– Смутно, – пытливо глянув на свекра, пожала плечами молодуха. – Я же тогда маленькая была. Помню, что добрый был, ласковый, посадит меня на коленки и щекотит бородой, я аж заливаюсь.

– Дед-то у тебя, милая, ши-ибко знаменитый был. Ранешние старики помнят. Он тут неподалече на выселке сидел – да при царе ишо, а в тридцатых кулаков потрошил. Его, правда, всё больше по-партийной кличке звали – Самуил Лейбман-Байкальский, – ...Я еще застал его, под его началом сельских мироедов к ногтю жали... Вот довелось и с дедом твоим, и с отцом поработать. Да... Погоди, ему тут ишшо и статуй поставят, деду твоему, вот увидишь. Я тут учительку на улице встречаю, – у Таньки нашей историю ведет, – и спрашиваю: а такого, мол, знаете, Самуила Байкальского? Та ни сном ни духом. Здорово... Я даже пристыдил ее на людях: как же вы, говорю, историю ведете, а Самуила Байкальского не знаете. Документы бы какие пошукали – где-то же в архиве, поди, есть, да и открыли бы в школе музей. Человек, можно сказать, кровь за вас проливал... Дивненько уж времечко прошло, опять ее встречаю, она мне: дескать, был такой, Самуил Лейбман, но его в тридцатых Сталин к рукам прибрал – не то за перегиб, не то за пережим. В колхоз, мол, за узду ташил. Линию искривлял... Э-э-э, думаю, курицьи твои мозги, как же тут без пережимов да без перегибов обойтись, когда народ еще понять не мог, чо к чему?! Дедко твой верно говорил: народ русский надо носом тыкнуть, чтоб выгоду свою учуял. А потом еще пинка дать под зад... Линию он искривлял... Сама ты линия кривая, – хотел в сердцах-то учительке сказать, да не стал связываться. Теперичи легко рассуждать – линия... У меня вон отца родного раскулачили, на выселку послали, да потом одумались, отпустили с богом; мы же батраков-то не держали, у нас своих ребят – колхозная бригада: одиннадцать парней и девок шестеро. Робили, как кони, от темна до темна, света белого не видели, но, правда, и жили в достатке. Жалко, что избу отняли и хозяйство убавили, – отец вздохнул, немного посмурнел, но потом махнул рукой. – Но чо уж теперь ранешнее поминать?!

Снявши голову по кудрям не плачут... Ладно, доченька, пойду я. Главное, чтоб папка подъехал. А то без отца-то, сама понимаешь, не свадьба...

– Подъедет он, подъедет, – еще раз с улыбкой успокоила его молодуха.

VII

Наслушавшись сына, отец усмехнулся про себя:

«О-ой, не свисти, паря, не свисти – денег из кармана утекут, а уж лучше напрямки скажи, что решил папашу маленько подоить. Тестюшка-то ненаглядный, видать, пока ни мычит ни телется, и еще неведомо, чего отвалит, а то покажет кукиш, и Машка не сарапайся, и Васька не чешись. А на кукиш много не купишь, а купишь, дак и не облупишь. Самуилыч, конечно, мужик хороший, добрый, но больно уж любил за чужой карман архидничить²⁶, чужими мягкими своих поминать. Мудрец, одно слово... Как бы и тут не отвертелся. Песни-то под гармошку в деревне еще горланят, и коней запрячь дело нехитрое: на любой конный двор пошел, с конюхом четушку распил – вот тебе и конь, и сбруя, и бричка на резиновом ходу. Шаркунцы-бубенцы ноне и днем с огнем не сыскать, да тоже не беда, в амбаре медное ботало валяется... блудливым коровам вязать, – на дугу привесить, тоже бравое звенит, от бубенца не отличишь. Но платок-то красный к дуге, однако, грех вязать да после свадьбы красу по деревне развозить, как в досельну пору, – не выдержанна девка, надкушенный пирог. Да какой уж там, прости, Господи, платок, ежели от одного мужика откачнулась, ко второму пристала, тут уж, поди, крестинами всюю припахиват...»

Отец, как и деревенские кумушки, тоже был наслышан кой о чем, хотя Алексей напустил такого густого тумана, что без бутылки и не разобрать. И если соседские кумушки в обсужке счернили краски, от себя присбирывали, то отец все же знал дело вернее.

«Можно, конечно, и аленький платочек, – размышлял он, сидя с Алексеем на лавочке во второй день, подымливая в серое небушко. – Кто проверит, выдержанна девка или нет? Не стары времена, чтоб уж непременно нерасчатая была. Да будь ты старее поповой собаки и пусть с тобой только ленивый по кустам не шастал, была б с лица смазлива, и отбою не будет от женихов. Не в том дело, а чем гостей напоить, накормить, – вот об чём голова болит. Молодым же охота, чтоб все чин-чинарём, а об том не было печи, что тут и без свадьбы едва концы с концами сводишь. Это не на четушку белой наскрести, это ж скольких надо отпотчевать, чтоб не взыскали?! К тому же молодым надо и на дорогу рыбки подкоптить, подсолить, да и деньгами подсобить – кто знает, может, с ночного горшка семья пойдет. Тестюшка, сколь помню, шибко-то не раскошелится. Но рыба – дело пятое, тут и печали нет, а где деньжатами разжиться – вот беда-бедушка, и времечко прижимает. Придется, однако, – со вздохом решил отец, – коровенку сдавать, тем более стародойка и нестельная ноне. Хотел до осени погодить, чтоб весу нагуляла, да уж, видно, некуда годить».

Конечно, пятиться назад было поздно, поэтому отец даже без Алексея нажима решил сыграть свадьбу честь по чести, чтоб всё как у путных людей; потянуть маленько жилы, но уж тряхнуть мощной, а потом хошь с сумой, пошире плюнуть, чтоб не хуже других, чтоб знали, что и Краснобаевы не голь перекатная. Корову сдать – будет чем брякнуть, а будет чем брякнуть – можно и крикнуть. К тому же у отца шли тут и свои соображения: перво-наперво, женился любимый парень, одна, похоже, надежда на старости – расторопный, весь в краснобаевскую родову, а потом, отец все чаще и навязчивее подумывал бросить Сосново-Озёрск и уехать в город поближе к Алексею, но пока еще мучительно колебался и надеялся, что сын разрешит его колебания. Тот, чтобы угодить отцу накануне свадьбы, поддерживал отцовскую задумку: дескать, и в самом деле, чего вам здесь одним куковать на старости лет?! Конечно, надо в

²⁶ Архидачить – пить архи (водку), гулять.

город выгребать. Правда, к себе не манил: дескать, сам еще толком не обжился, и советовал списаться со Степаном, старшим братом, который жил на иркутском севере, в золотом городке, и покрепче его стоял на ногах.

VIII

Когда Ванюшка вышел за калитку и присел на краю лавочки, отец с Алексеем всё рядились и рядились, покуривая, смачно поплеывая на солончаковую сивую землю. У Ванюшки сызмала завелась привада слушать взрослые говоря, его и поносили, и гнали, а все без толку, и попустились. Так что, где взрослый разговор, там и Ванюшка пасется, на ус мотает.

С грехом пополам уладив с расходами, перекинулись Краснобаевы на гостей. Здесь тоже ходишь шатко по краю обрыва: и этого надо звать, и тот еще в жизни сгодится, и вроде больно много набирается – закуски, выпивки не напасешься.

– Другого деревенского не позови, – проворчал отец, – а он потом губы надул, как сердитый Федул, и нос воротит. Вот и ходи да оглядывайся, как бы он тебе пакость за спиной не утварил.

– Ну, соседей позовем да и ладно, – поморщился Алексей. – А родню известили. Степан с Егором не приедут, Илью не отпустят... – он вспомнил братьев, двое из которых жили своими домами за тыщу верст от Сосново-Озёрска, а Илья, отслужив на Северном флоте, учился аж в Алма-Ата на ветвефельдшера. – Сестра Шура с мужиком подбежит...

– От у бурят-то, паря, браво, а, – поцокал отец языком, – молодых подарками завалят, любая свадьба окупится да и на жизнь останется. Баранов с гуртов²⁷ понавезут, денег отвалят, всю тебе обстановку купят – живи да радуйся. Надо было тебе, Алексей, буряточку брать с гурта – запоздало, смехом присоветовал отец, – вот бы зажил кум королю: сытый, пьяный и нос в табаке. Дружно, язвы их за ногу, живут, не то что наш брат, русский. У нас же как: соберутся Ванька с Манькой да Колупай с братом, понапрут дешевой посудешки, вот и любуйся на ее, залюбуйся. От их подарок – свечи огарок. А уж за столом-то едят, чтоб попучивало, пьют, чтоб покачивало, – ввернул отец любимую приговорку. – Как говорится, и пил бы, и лил бы, искупаться просил бы. На том свете не дадут, разве что по шее надают. Вот как. Любят у нас поархидничить за чужой карман.

– Да много народу собирать не будем, ты, батя, не переживай, – махнул рукой Алексей. – Тихонечко посидим, отведем вечер и можно отчаливать.

– С родичами, с ними ясно, – прикинул отец – они от разговора отпадают: покуль ты, паря, жив-здоров, никуда от их не денешься, а подсобить чо, не докричишься. Захвораешь – тоже досаждать не будут, ни одна холера не придет, не приедет. Ладно... Здешние уже знают, а дальние, поди, и сами бы не поехали за сто верст киселя хлебать. Так что с родичами ясно... А вот кого из соседей позовем?

Отец с Алексеем, затем и Ванюшка невольно поглядели вдоль широкой улицы на соседские усадьбы, и зрели уже не обычным, почти невидящим взглядом, а вроде с приценкой.

Прямо напротив краснобаевского двора, не слитно с другими усадьбами, сама по себе, далеко упрятанная в ограду, желтела деревянная юрта, промазанная по пазам сырым коровьим назьмом; на пологой крыше, засыпанной землей, росла трава в пояс, цвели желтыри-одуванчики, отчего избенка походила на выросшую из земли кочку с зелеными вихрами, в коих играл и пошумливал степной ветерок. Здесь жила бабушка Будаиха со своим сыном и молодухой, с внучатами Раднашкой и Базыркой.

Она была древней старухой, стриженной наголо, готовой идти в земли своего бурхана, для чего молилась ночами, чтобы принял, не погнушался; а потому всё в избенке бабушки

²⁷ Гурт – стоянка в степи, где жили и пасли овец здешние буряты.

Будаихи оберегало бурятский лад: в простенке между окон на полочке, застланной белым шелком, тускло светились древней медью бурятские божки в окружении сверкающих медных чашек на приземистых ножках и полосок того же белого шелка с тибетскими святыми письменами.

Двор бабушки Будаихи казался островком степи посреди деревни, где травы, испестренные цветами, росли с загадочным буйством. В телятнике, отмежеванном от ограды низкой загородкой с пряслами в две жердины, паслись на холеной траве два барана, нет-нет да и потехи ради с бряканьем схлестывались завернутыми в калачи рогами; тут же полеживала барануха с ягнятами; а в тени избы дремала низенькая, гнедая кобыленка – видно, с летнего гурта наехал сын бабушки Будаихи, отец Раднашки и Базырки, совхозный чабан Жамбал. Даже в тянущую, непроглядную морось бурятский двор смотрелся живее и отраднее русских, чернеющих оголенной землей, – светился мокрыми травами и согревал взгляд желтырями-солнушками. В ясные дни неодолимо приманивал соседских ребятишек; так уж хотелось, словно игривым жеребяткам-стригункам, кувыряясь, дрыгая ногами, в волюшку покататься по телятнику, приминая травушку, желтыри да ромашки и заплатками синеющие незабудки, или просто полежать, широко раскинув руки, глядя в глубокое, кротко-голубое небо, где всегда кружится одинокий коршун; лежать до сладостного полубоморока, когда покажется, что и ты паришь вместе с коршуном, взбираясь кругами все выше и выше, пока не закружится сморенная голова, и ты не уснешь, тихо закрывая глаза, в которых затуманится мерцающая синева.

Посиживая сейчас на лавке возле отца и Алексея, Ванюшка мимолетно и все же с наслаждением припомнил, что нет ничего слаще летнего сна посреди душистой травяной прохлады, если даже припекает жаркое солнышко, нет ничего легче такого сна, в коем ты паришь и кружишься в поднебесье и вдруг, обмирая сердцем, соскальзываешь с небесной кручи, – растешь. Ванюшка это знал явственно – карапузом, случилось, засыпал в будаевском телятнике, нажавшись желтырей, и бабушка Будаиха, высмотрев его среди травы, караулила Ванюшкин сон, грозила суковатой, до тепло-бурого цвета натертой березовой палкой-батошкой внучатам Раднашке и Базырке, если те пытались напугать спящего парнишку. Этим же батошкой она и выгоняла ребятишек вместе с Ванюшкой, когда те заводили в телятнике шумные игры, топтали и мяли траву, пугали баранов и баранух с ягнятами. Батожок всегда жил при ней, она или опиралась на него при ходьбе, усталая, или погоняла им коровенку, или приторачивала к нему хозяйственную сумку, перебросив ее через плечо.

Возле избы-юрты торчала промытая дождями и вылизанная ветрами длинная жердина, расплескивая знойное марево белым флажком – хадыком, улавливая гортанную речь мудрого бурятского бурхана²⁸, поскольку на хадыке, обращенные к нему, чернели затейливые знаки. Так слышалось бабушке Будаихе.

Много лет спустя, рядом с хадыком, схлестываясь на ветру, вознеслась телевизионная антенна – Базыркино рукоделье, и перед ней, ловящей суетное и видимое подобие жизни, сник бабушкин хадык, обвис линиялой, ненужной тряпицей; и, наверно, чураясь железных хитросплетений антенны и мусором выющихся вокруг нее слов, визгливых звуков, все реже и реже, только ночами, когда умолкал, перегревшись, болтливый ящик, прилетал бабушкин степнолицый бурхан и, усевшись возле хадыка на жердине, шумно вздыхал по былой тиши. Однажды поздним вечером на антенну уселась сова, как потом испуганно шептал Радна, и умерла девяностолетняя бабушка Будаиха.

– Будаевских-то надо позвать, – заговорил отец, – тем более вон Жамбалка подъехал. Старуха не пойдет, а Жамбалку с молодухой можно пригласить. Эти другой раз, глядишь, и мяском выручат, и шерсти подбросят, а им только свежую рыбу давай.

²⁸ Бурхан – бурятский идол.

Буряты, испокон века живущие рядом с русскими, подле самой воды, откуда рыбу хоть совковой лопатой гребли, ремеслу же рыбацкому мало обучились и не хотели учиться, поскольку и ели-то рыбы мало, лишь в охотку, рассуждая, что лучшая рыба – это все же мясо.

IX

За Будаевыми выходили Сёмкины да Шлыковы. С одного бока к избе Краснобаевых, большой, но уже вызеленевшей, скособоченной на южный угол гусеницей подползала изба Сёмкиных, длинная, как барак, низкая, с крышей, провисшей там, где из нее закопченной фигой торчала труба; мелкие окошки с одностворчатыми перекошенными ставнями, давно не белеными, присев на полуосыпавшиеся завалинки, смотрели узко и подозрительно – глядя на экую избу, можно было наверняка сказать, что баба здесь одна пластается по дому, муж или обьелся груш, или пьянчуга добрый.

С другой стороны над усадьбой Краснобаевых нависал дом Хитрого Митрия, дородностью своей похожий на хозяина, даже покатая крыша казалась лысоватым, скошенным лбом самого Митрия. Избы похожи на хозяев, – однажды невольно приметил Ванюшка, когда перерисовывал их в заветную тетрадку, – стоит лишь взглянуть в избу, смотреть долго, не мигая, и постепенно из фасада явственно проступит лицо хозяина и даже оживет. У Шлыковых же был не дом, а добротные хоромы, до тридцатых годов принадлежавшие Калистрату Краснобаеву, Ванюшкиному деду, раскулаченному, но не высланному... в связи со смертью. О былую пору дом, вероятно, походил на Ванюшкиного деда: из потемневших, охватистых венцов сурово смотрели заслезившиеся дедовы глаза; и Хитрый Митрий, как бы угнетаясь этим, до поры до времени терпел, а потом собрался с силами и переделал дом под свою обличку: ободрал позеленевшую тесовую крышу и, выставив свежие стропила, покрыл дом железными листами, потом, выломав тяжелые резные наличники, карнизы, изрубив их на дрова, обшил сруб «в елочку» свежей дощечкой и заодно с крышей покрасил всё коричневым цветом, а потом, в азарте, не давая себе передышки, прилепил к дому стеклянную веранду и даже смастерил палисадник из металлической сетки, прибранной к рукам на машинно-тракторной станции; теперь оставалось только посадить в палисаднике елочки, сосеночки, но до этого руки у хозяина пока не доходили, пока там, подрываясь под избу, Маркен копал червей на рыбалку, за что получал от отца взбучки, но добычливым местом не попускался. В глубине шлыковского двора кособочилась черная избенка – бывшая стайка для курей, где теперь дотягивали век отселенные из избы дед Киря и бабушка Шлычиха. Будь на то отцовская воля, он бы, наверно, Хитрого Митрия и близь ограды не подпустил, не говоря о том, чтобы вместе с собой сажать за свадебный стол.

Митрий Шлыков, совхозный тракторист, годный отцу чуть ли не в дети, отстроился прямо на глазах и большим обзавелся хозяйством – вернее, не столько большим, если мерить на стародеревенское время, сколько ладным и крепким, – даже глазам отцовским больно смотреть. На скотном дворе помыкивали корова с бычками и телками, возле них похрустывали сеном овцы – на лето хозяин пристраивал их к знакомым пастухам и чабанам на летние гурты, где скотина перед осенним забоем нагуливала вес. В стайке кряхтели и чухали, ворочались с бока на бок два или три борова – амбары мяса и сала.

– Митрий-то крепко зажил, – крякнул Алексей, оглядевший искоса шлыковскую усадьбу.

– Да уж куда крепче, – согласился отец и с густо-синей ревностью тоже покосился на шлыковскую усадьбу. – В деревне, паря, ежели ты с головой да на технике сидишь, сытый будешь – вот так, – отец чиркнул себя по горлу, – выше крыши. Этот Митрий недаром хитрым прозывается, у его же трактор как свой, куда хочу, туда поворочу. Раньше-то, бывало, один-два ловкача на всю деревню, а теперичи тракторист последний и тот свою выгоду не пропустит. Тятя мой богато жил – Митрию там и делать некого, мелко плавает, вся холка наголе, но тятя сроду чужого не брал и нас порол, как сидоровых коз, ежели чо прознат. Боже сохрани на чужое

позариться. Всё своими руками добыл. Сам как конь ворочал, и нам, ребяташкам, присесть не давал. Зато и жили, богаче нас и вокруг-то никого не было. Тятя и батраков не нанимал – своих ребят семнадцать. Может, когда маленькие были, кто и подряжался, не помню. Вон, дед Киря, бывало, сам напросится из нужды, дак тятя новой раз и возьмет. Удалые все были, работающие, не то что нонче.

– А всё ж кулаки считались, – раздодоривал отца Алексей.

– Кулаки... – с горькой усмешкой покивал отец головой. – Не кулаки, а дураки. У моего тяти, Царство ему Небесное, стадо коров паслось да табун коней, а всю жизнь проходил в драных портах да сырмятных ичихах. Путних сапог не нашивал... А ты знаешь, чем ранешний кулак от нонешнего отличается?

– Чем?

– А тем, что ранешний-то горбом наживал – ну-у... может, другой раз и обкрутит непутного мужика, – а вот нонешний, этот, паря, всё из государства прет... Сидит ловкач в конторе, бумажки перебирает, а сам так и елозит глазом, где бы чего срубить. Говорят же, что худо кладено, то нам и дадено. Вот Хитрый Митрий кажин год по три чушки выращиват, а где, спроси, он столько дробленки, столько отрубей или комбикорма берет, чтобы такую ораву прокормить?! Где?

– Покупает или на картошку меняет.

– О-ой, без штанов бы остался. Всё достает – у нас нонечи так говорят. Он же не скажет: ворую. А уж где достает, там для нас, дураков, никто не припас. Верно говорят, надзору мало стало! Раньше-то, при Сталине, худую щепку боялись взять! – зажегся праведным гневом отец. – А теперичи, где худо лежит – у нас уже брюхо болит. Нету на них руки крепкой. Сталина бы им...

Чуть ли не первым на всю деревню Хитрый Митрий, к радости своего сына Маркена, вкатил в ограду новенький мотоцикл с коляской, почитаемый тогда великой роскошью. Благодаря мотоциклу, Шлыковы уже ни одно лето, даже самое неурожайное, не сидели без грибов, без ягод; поблизости пусто или быстро выщелкали ту же голубицу, сели они на мотоцикл да укатали подальше, куда «безлошадным» ходу нет. Словом, зажил Хитрый Митрий, а вроде еще недавно, казалось отцу, бегал по деревне худородный Митяй, сверкая заплатным задом; одну зиму так и вовсе в разных катанках. Один серый, другой белый, два веселых катанка, – посмеивались над ним мужики, жалея бедного Митяя. Вот и дожалели, вот и доскалили зубы, теперь Митяй сам похахатывает да поплевывает сверху, а вот жалеет ли кого – это уж бог весть. А все поплыло в руки, как выучился на тракториста, поскольку на технике работать с любого бока прибыльно: не говоря о том, что и заработки ладные в совхозе – это не навоз на ферме убирать, – но и себе в любое время и дров, и сена подкинешь, никого не надо нанимать, бутылки ставить, а и на том же тракторе и зимой, и летом можешь подкалымить – так что жить можно, только не ленись.

– Шлыкова-то, паря, обязательно надо звать, – со вздохом решил отец, – как-никак в соседях живем, а то обидится еще. Да у него, кстати говоря, и гармонь-тальянка есть, и играть мастак, а Маруся-толстая пляшет браво. Не позовешь, так потом сроду не допросишься того же сена корове привезти или дровец опять же.

* * *

А ведь было времечко, ела кума семечки, – вспоминал про себя отец, – было оно, любезное, еще до тракторов этих, когда не Краснобаевы спину ломали поклонами, а им кланялись до сырой земли, потому что чуть ли не первое в округе хозяйство имели – пять коней могли разом запрячь, одних дойных коров стадо мычало. Дед Киря – отец Хитрого Митрия – из лета в лето нанимался батрачить, подсобляя на покосе и жатве, а потом, когда один за другим под-

росли одиннадцать краснобаевских парней и шесть девок, обходились уже без него, и лишь изредка дед Калистрат, жалея Кирию, не на земляную колодку деланного, известного в деревне за охотника, балагура, выпивоху, из милости брал пасти коров или овец. Но это были уже такие туманно-розовые времена, что отцу с трудом иной раз и верилось, что они были, а не приснились в цветном, отрадном сне.

С переменной деревни деда Калистрата, конечно, крепко попржиали; хотя он, уже наслышанный о раскулачивании, успел пусть и подешевке, но все же распродать лишний скот по чужим деревням, как успел и помереть в своей избе. Смерть же, какую он, видимо, поторапливал, не заставила себя долго упрашивать, пришла и спасла его от предрешенной высылки. Еще и года не отлежал старик в земле, как усадьбу с большими дворами, могучими листвяничными стаками и амбарами, с необъятным огородом и широченным телятником, где на огороженной и ухоженной траве паслись телята и ягнята, поделили на три усадьбы, две из которых отдали Шлыковым и Сёмкиным, одну оставили самим Краснобаевым. Амбары переладили на избы, прорубив окошки и пристроив сени и казёнки²⁹, и лишь деду Кире, тогда еще нестарому мужику, героическому партизану, вместо амбара или стаки отдали сам хозяйский дом.

Да, все переменялось, и тот же дед Киря – бывший краснобаевский батрак, непуть, – ему бы из ружьишка пострелять да языком поболтать, – ныне почетный красный партизан, которого здешние пионеры одолели: проберутся в теплячок, где два глухаря, дед Киря со своей старухой, бабкой Шлычихой, криком пересказывают новости, и давай тормозить деда, только пух летит, – а как же, партиза-ан, уж и в местной газетке на сто рядов прописали дедовы героиства. Маркен-то, считал Ванюшкин отец, весь в деда пошел, – тоже герой с дырой, никому сладу нету с варнаком.

Сам же Петр Краснобаев, несмотря на то что отца раскулачили, ловко извернулся и не только избежал притеснений, но даже сумел просочиться в партию и после войны, зажав подмышкой парусиновый портфель директора маслозавода, раскатывал в бричке на резиновом ходу, ибо за четыре класса церковно-приходской школы и за сметливый ум почитался в деревне голованом и грамотеем. И все же приплывшись душой к новой беспутной жизни Петр так и не смог; металась душа горемычная в мутной и свирепой реке времени, кружилась в хмельной воронке, тянулась в старь, будто голос деда Калистрата манил и властно велел оглянуться.

– С нашей улицы еще Гошу Хуцана с Груней позовем да и хва, – со вздохом решил отец. – Гоша, глядишь, с райповских складов и дешевой водочки подбросит... Хотя с него, как с быка молока, где сядешь, там и слезешь.

Ближе к озеру высились хоромы Гоши Рыжакова, прозываемого в селе Гошей Хуцаном³⁰, и перед рыжаковским подворьем... чисто имение барское... меркла даже раскрашенная усадьба Хитрого Митрия. Но Митрию достаток, как ни крути, а натужным механизаторским трудом дался, а Гоше Хуцану, заведующему складами «Райпотребсоюза», богатство вроде как с ветра прилетело. Жена Гоши Хуцана, Груня, доводилась Ванюшкиной матери сестреницей, а посему Рыжаковых решили пригласить в первую очередь.

Х

Со степного края улицы вывернул Хитрый Митрий, ведя, словно на поводу, Николу Сёмкина, который останавливался и, куражливо подкручивая казачьи усы, глядел на соседа через недобрый прищур, – не то целился, не то приценивался, и Митрию приходилось нет-нет да и поддерживать Сёмкина за рукав.

²⁹ Казёнка – кладовая.

³⁰ Хуцан – невыложенный баран, которого держат в стаде, чтобы крыл овец.

– Ишь, рюкзак-то не с той стороны повесил, – засмеялся Алексей, глазами показывая на свесившийся живот Хитрого Митрия, так распирающий измазученную рубаху, что она вылезала из штанов, показывая голый Митриев пуп. – Добрый мамон отrostил, как у нашего Ванюхи пузень, – Алексей похлопал по Ванюшкиному животу, отчего брат, смахнув Алексею руку, сердито отсел на самый край лавки.

– Это откуда он Сёмкина прет?.. Пьяней вина... – Отец усмешливо покачал головой. – Да, будешь приглашать соседей, этого змея, Сёмкина, даже близь порога не пускай. Он же, холера, зальет шары и пойдет дурочку пороть, всех же и высрамит за столом. У него же как: выпил пива да тестя в рыло, а приевши пироги, тещу в кулаки. Зна-аю я его. С греха с им сгоришь. А тут ежли тесть подкатит, вот будет ему бесплатное кино. Прямо палку бери и гони в шею. А то и посидеть не даст.

– Конечно, зачем он нужен, пьянчуга, – согласился Алексей с отцом, – позориться с ним.

Перед тем как свалиться с ног, бывший рыбнадзор Сёмкин почти всегда успевал разлажаться с компанией, не давая спуску даже тем, у кого только что униженно просил взаймы на четушку. Хотя случалось, до того как выказать норов, пробкой вылетал из компании, – выкидывали, и доругивался под забором, на сиротливой, холодной и бесприютной земле. Но бить – сроду не били, не было еще такой привады, чтобы колотить чем попадая, пуская в ход и ноги, и штaketник от палисадов; это вошло в обычай, когда стали подрастать Ванюшкины годки.

Хитрый Митрий, торопливо кивнув головой Краснобаевым, завел Сёмкина в свою ограду, а через некоторое время послышался его крик, подкрепляемый руганью, потом калитка широко распахнулась и вылетела с лихоматным бляньем старая имануха бабушки Будаихи. Выскочив за ней следом, Хитрый Митрий попытался огреть толстой орясиной, какой подпирал ворота, иманиху по рогам или хребтине, но та с молодой козлиной прытью ударилась вдоль улицы.

– Эй, Митрий, – весело крикнул отец, не скрывая своего удовольствия от увиденного, – ты животине хребет-то проломишь, потом с бабушкой Будаихой не рассчитаешься. Придется иманухе платить по больничному листу.

– Не успел, паря, тозовку достать, я бы ее, падлу, пристрелил – замаялся из картошки выгонять, – ругнулся Хитрый Митрий, но, приметив Алексея, улыбнулся, рассиялся круглым, лоснящимся лицом и даже широкой проплешиной на голове.

– Привет городским, – подошел ближе и возле самой лавочки сделал вдруг резкий выпад в сторону Ванюшки, будто желая ухватить за «табачок», притаенный в штанах, и когда парнишка испуганно соскочил с лавки, сел на его место. – Испугался, Ванюха, пустое брюхо?.. Береги, береги, сгодится. Ты, говорят, уже в город лыжи наострил? Как тут дед наш да бабушка Будаиха без тебя останутся?! – Митрий захохотал.

– Ты, Митрий, куда это Сёмкина упрятал? – спросил его отец. – Прямо как в кутузку затащил, чуть не волоком.

– А-а-а, пьянчуга проклятый, всю плешь переел. Вторую неделю печку перекладывают. Ходит, рюмки сшибат. Взял ему четушку, иначе же его работать не заставишь. Сколь этих четушек переставил, кто бы знал. Я сейчас вроде как на ремонте, отдыхаю, думал, по-быстрому с печкой разделаться да съездить на аршан спину полечить. Чтоб до покоса успеть.

– А чего надумал печку-то перекладывать? Браво грела, помню... – тут отец чуть было не проговорился: дескать, помню, как ее при тятке клали и как потом Краснобаевы не могли нарадоваться – до того русская печка вышла жаркой и приглядистой на вид; и хорошо, что отец вовремя спохватился, прикусил язык, а то бы вышло, будто укоряет он Митрия: мол, живешь ты, парень, в нашем родовом краснобаевском доме и ломаешь не свою, а нашу печь.

– Места много занимает. Куды там, расшеперилась на пол-избы, баба толстозадая, развернута негде. Я плиту хочу такую ловконьюкую.

– А стряпать-то где, хлеб пекчи?

– Не беда, мне уж в мэтээсе³¹ духовочку склепали. Ну как, паря, жизнь-то городская? – накинулся Митрий на Алексея, уставившись азартными глазами, в которых разом, в одной горячей замеси, высверкивали и немного деланное восхищение, и усмешка, и зависть, и даже вроде как обида. – На родину не тянет?.. А то ить баят: мила та сторона, где пупок резан.

– А что тут делать?! – Алексей, как и отец, был выпивший, а потому и склонный посу-дачить, порассуждать. – К Сёмкину подпариться да на пару водку понужать?! Так это можно и в городе да покультурнее еще.

– Как там у вас заработки-то? – Хитрий Митрий живо взблеснул притопленными в щеках глазами.

– Жить можно. А у вас...

– У вас, говорит, – усмехнулся Хитрий Митрий, обернувшись к отцу, – не у нас, – город-ской стал, не нашенский, забыл родину.

– Что родина?! – скривился Алексей.

– Даже птица возле корма гнездится, – поддержал сына отец, словно пяля на себя тулуп наыворот, переиначив приговорку: глупа та птица, что в чужом лесу гнездится.

– У вас же, как начинается посевная, потом сенокос, уборочная – ни выходных, ни про-ходных. А я пришел с работы, руки помыл, лег на койку, газеточку открыл – красота. И не надо в навозе колупаться.

– Да, да, да, – покивал головой Хитрый Митрий, в самых краях губ притаив усмешку.

– Какая тут жизнь?! Еще до армии все надоело. Тут и отдохнуть-то негде, грязь по ули-цам месить да водку пить. Дотемна в поле промантулишь, а потом еще по хозяйству работы неупроворот. А в городе-то красота: воду не носить, дрова не пилить, – всё в квартире. Газе-точки почитывай и в ус не дуй. А надоело диван мять, туфельки надел, пошел прошвырнулся, пивка, попил, винца пропустил стаканчик, и все в порядке у бурятки, – Алексей засмеялся шутке. – Приезжай, сосед, на легковой машине прокачу, на первом сиденье, как начальника. С ветерком...

– Я вот, дядя Петя, всю жизнь говорил: о-ой, Леха-то у вас... са-амый башковитый парень, – пропел Хитрый Митрий масляным голосом, каким обычно напевают, чтоб уж непре-менно сглазить. – Ежели меньшей-то, Ванька, в него пойдет... – не найдя подходящих и лест-ных речений, Митрий просто махнул рукой, но договорил отец:

– Далё-око пойдет, ежели милиция не остановит.

– Тьфу на тебя, дядя Петя! – окстился Хитрий Митрий. – Кого буровишь?! Леха, – он обернулся к Алексею, – я вот чо хотел узнать: говорят, у вас там в городе стали лодочные моторы выбрасывать. Свободно в магазинах или как?

– Ну ты что?! По великому благу, сосед.

– Да-а. Жалко... Моторчик хотел достать. У меня на лодке стоит движок, но неудобно – угар от его, тарыхтит, да и тянет худо. У тебя там ничо нигде?.. – Хитрый Митрий покрутил пальцами. – Я бы и переплатил, ежели чо.

– Да у Марины дядя в торге работает.

– Да?! О-о-о!.. Леха, будь друг, посмекай у него, а! – жалобно попросил Хитрый Митрий и даже прижал руку к груди. – А за мной не пропадет. Могу и рыбки подбросить.

– Ну ладно, потом поговорим. Ты мне напхни перед отъездом. Да, кстати, у тебя мото-цикл на ходу?

– Так-то вроде и на ходу... – зажался Хитрий Митрий, – но вроде поршня стучат.

– Ну-у, это поглядим. Я же год слесарил в гараже... Сделаем... А потом давай, сосед, завтра-послезавтра мотанем на рыбалку с бродничком. Надо рыбки подловить. Погода хоро-шая стоит.

³¹ МТС – машино-тракторная станция.

– Об чем разговор. Конечно, можно. Сейчас у нас хоть продых, отсеялись. Давай хоть завтра... Ладно, пойду я, погляжу, чего там Сёмкин мой творит.

Едва Хитрый Митрий отошел, как отец и сплюнул ему в спину:

– Этот Митрий деньги лопатой гребет, здорово хапат.

– Оно и видно, – скривился Алексей. – Всю жизнь в мазуте ходит. Я, батя, такие деньги могу и в костюмчике заработать. К вокзалу подкатил, одного-двух подвез, вот тебе и вторая зарплата.

– Начальник-то ничего, не ругатся?

– Тесть-то? – Алексей самодовольно рассмеялся. – Не-е, хозяева нашего брата, кучера, не обижают. Сам посуди, мы же всё про них знаем: где, с кем, когда выпил, куда подвернул, что повез, – всё на наших глазах. Они сами у нас в руках. Не-е, мы с ним душа в душу живем. Я его, бывало, подвезу куда-нибудь на совещание, часа три у меня в запасе, поехал, подкалымил.

– Но, раз уж крепко зацепился, держись! Здесь-то и в самом деле шибко нечего делать. Молодые водку почем зря лакают... Вообще, обживайся там... И домик-то нам присматривай, – отец с криканием поднялся с лавки, – где-нибудь на краю города, чтобы свой огородик был. Глядишь, и мы к тебе переберемся. А то случись чо, и стакан воды некому будет подать. С этого, – отец мотнул головой в сторону Ванюшки, – с этого, паря, толку мало. Лодырь, всё из дома прёт, раздает, с греха с им сгоришь.

– Работать заставляй, некогда будет дуру нарезать. Потом спасибо скажет. Слава богу, вон уж какой бычок вымахал.

– Кого ты говоришь?! Работать... Хошь бы уж за собой-то убирал. Не заставляли бы, так и не мылся бы, грязью зарос. Всё из-под палки... Да, так вы это самое, – спохватился отец, припомнив, – серьезно решили его в город взять или как?

– Не знаю, – удивленно выгнул брови Алексей, но почувствовав на себе напряженный, уже почти плачущий Ванюшкин взгляд, тут же отговорился: – Это Марина, поди, обещала. Не знаю... Куда мы его сейчас возьмем, сам посуди?! Как там еще получится, кто его знает.

– Оно, конечно, чего вы там будете с ним мотаться, – согласился отец и, считая это не разговором, приступил к новому вопросу: – Значит, помнит Самуилыч меня, не забыл... Как он там?

– А что ему, процветает... начальник... молодая жена...

– Ну ладно, дай бог вам сжиться. А домик-то нам посмекай. Самуилычу подскажи – може, подсобит. Чуть чо, напиши, черкни нам.

ХІ

Ванюшка, мало вдумываясь в наговоренное, лишь однажды по-собачьи наострил оттопыренные лопухами уши, когда разговор своим размашистым крылом опахнул и его. Тут ему неожиданно привиделось, что праздничный шум скоро уgomонится, расползется по темным сырым углам, и в старой избе снова будет ползти нешатко-невалко сумрачная домашняя жизнь с пьяными компаниями и тяжким махорочным духом, с отцовскими матерками и причитаниями матери, с ее слезами и молитвами посреди ночи. А брат и тетя Малина, которую уже без памяти полюбил, сядут в городской автобус – и лишь пыль выгнется густым коромыслом на дороге и угаснет, печально ляжет на пепельную придорожную траву. И когда автобус укроется в березовой гриве, сползающей с Дархитуйского хребта к поскотине, когда истоньшает и сгинет заунывный вой мотора, падет он с ревом на твердую, в камень прибитую дорогу, или на седую проплешину солончака и будет с воем грызть седой суглинок, остро чую соль земли, – ее засохшие слезы, – а его слезы потекут в три ручья, вскипая и пузырясь, как в ливень; и ничто в этом морошном, сжатом в овчинку свете не утешит его, не высушит слез, пока не выплечет душу до пустоты, где сквозняком гуляет тоскливый ветер.

Готовый разреваться, прыгнул с завалинки и, весь подрагивая, кинулся искать тетю Малину. Тут же и прихватил ее возле летней кухни, хотел сразу же, взяв в охапку, выпалить всё, что больно затретило душу, но споткнулся, упершись в сердитый, обиженный взгляд. Она капризно покусывала нижнюю губу, краснея, исподлобья посматривая и без того темными, а тут вовсе счерневшими глазами в сторону летней кухни, где мать слишком шумно, с бряком двигала кухонные городки – чугуны и жаровни. Ванюшка на что уж маленький и то понял, что у матери с молодухой что-то не сладилось. Он и раньше чуял – мать раздражает предсвадебная колготня; она, не разгибая спины, поднимая на ноги восьмерых ребят, пережив с ними военную стужу и нужду, отвалилась радоваться праздникам; праздник давно стал для нее – работа еще лучше, работа, которой не видать ни конца ни края. Выпить могла, иной раз не отставала от Петра, но веселья в ней не добавлялось, даже задористые песни выходили поминальной причетью. Вот и теперь, какая ей радость, ежели успевай жарь-парь, не отходи от печки, не говоря уж о попутной, изматывающей толкотне?! Мужикам что, наелись от пуза, напились от горла, да и похаживают по ограде, табакурят на лавочке, а тут вертись как белка в колесе. К тому же молодухе, привереде, хотелось, чтобы нажаренное-напаренное было и повкусней, и с городскими причудами; в подполе около таза с холодцом томилась, как живая, до смерти напугавшая Ванюшку, дородная щука, начиненная молотой рыбой, с пучком зеленого лука-батун в оскаленной пасти. Эдакие причуды и раздражали мать, привыкшую изо дня в день варить картоху в мундире или жарить ее на рыбьем жиру, да гоношить окуневую уху. Ванюшка еще с утра слышал: мать ворчала, толкуя всё с теми же кухонными горшками: «Раз такая привереда, дак играли бы в городе свадьбу, а не пёрлись за триста верст в деревню овсяного киселя хлебать... Да и время неподходящее: путные на Покров Пресвятой Богородицы свадьбы справляют. Недавно ране баяли: батюшка-покров, земличку покрой снежком, а меня молоду кокошником – не девым, а бабым убором. А то еще ловчее присказывали: бел снег землю покрывает, не меня ль молоду замуж снаряжат. Там бы и чушку закололи, и утят-гусят подросли, да и грибов бы насолили, ягод наварили. Было б чего на стол метать...»

Не осмелившись спросить тетю Малину о своей тревоге, Ванюшка хотел было прошмыгнуть в огород, но тут его окликнула мать:

– Места себе не можешь найти? Вот отишь³²... Чем без дела и работы слоняться, отнеси-ка Сёмкиным, – она сунула парнишке глубокую миску, где с бугром были наложены одна к другой творожные и черемуховые шаньги, и накрыла постряпушки полотенцем. – Отнесешь, а потом дуй по щепки на пилораму, а то уж подтапливать нечем. Да миску-то с полотенцем назад неси, а то бросишь там, полоротый.

– Сама-то, – огрызнулся Ванюшка – с матерью он всегда был смелым: она ему, бывало, слово, он ей десять в ответ, так и ругаются, будто ровни.

– Я вот те сейчас покажу – сама! Мокрым полотенцем-то выхожу по голу заду.

– А я в город уеду, вот-ка! – заносчиво выкрикнул Ванюшка.

– Езжай, езжай, сгинь с моих глаз, идол, – махнула рукой мать. – Всё хоть одним мазаем меньше будет, – мазаем она, ругаясь, обзывала отца, но иногда и Ванюшку.

– Уеду и совсем не приеду, вот.

– Ладно, ладно, иди, не разговаривай! – сердито подтолкнула мать сына.

– Ну и пойду, чо толкаш-то?!

– Вот и иди себе. Миску-то не опрокинь, непуть.

– Сама-то кто?!

– Ой, парень, ты меня лучше не выводил! Без тебя лихо. А то ить не посмотрю на гостей, отвожу полотенцем, сразу у меня по-другому запоешь.

³² Отишь – ленивец.

Ванюшка, не дожидаясь, когда материна рука поднимется на него, быстро пошел от летней кухни, прижимая миску к груди, успокаиваясь в сладком тепле, густо дышащем от постряпушек, окутавшем его, точно облаком. Мать еще крикнула вслед:

– Таньку не видел?

– Не видел, – раздраженно отмахнулся Ванюшка.

– Кудыть эта балда осиновая ушастала, хоть бы воды наносила да бегала потом. Ишь барыня, тут гости навалили, а она и глаз не кажет. Исть дак первая, а как пособить, не докличешься. У Сёмкиных увидишь, гони домой, а то сама приду, палкой пригоню. Шатующа корова...

ХП

Войдя в сёмкинскую ограду, Ванюшка тут же и увидел свою сестру. Танька напару с Викторкой Сёмкиной мыла и скоблила небольшой теплячок – может, от того, что и в сёмкинском доме, и в краснобаевском вечно топтался народец, шла нескончаемая гульба, а потом еще и поднималась домашняя ругань, страсть как любили девчухи отделяться, обихаживать на свой лад гнездышки, устраивая их то в тепляках, то в летних кухнях, а то и в пустых амбарушках. Вот и теперь они ладили себе жилье, при этом звонко выводили недетскую песенку:

Мы идем по Уругваю,
Ночь хоть выколи глаза,
Слышны крики: «Раздевают!..»
Ой, не надо, я сама.

Когда раскрасневшаяся Танька выбежала в ограду с тазом и выплеснула помои под забор, Ванюшка сказал ей с ехидцей:

- Танька, домой придешь, мать тебе даст. Опять воды не наносила.
- Пусть твоя тетя Малина воду носит, понял! – Танька показала брату язык.
- Ладно, скажу: не хочешь воду носить.
- Только попробуй скажи, подлиза.
- И скажу.
- А иди-ка ты!..

Красная роза – любовь,
Белая роза – свиданье! —

затянула Танька, прежде чем нырнуть в открытый тепляк.

Желтая роза – разлука,
Черная роза – прощанье...

Когда Ванюшка зашел в темную, с провисшим потолком избенку и подал еще теплые шаньги, Варуша Сёмкина, костлявая и чернявая, одиноко кутившая у печи, заохала, завздыхала, не зная, чем и отдариться.

– Ой, спасибо тебе, Ваня, большо-ое-пребольшое. И матери передай: спасибо, – она выложила шаньги на стол, хотела уже отдать миску с полотенцем, потом придержала ее, печально призадумалась. – Пустую посудину неловко назад ворочать, и положить-то нечего, – как на грех, шаром покати, – она суетливыми, чем сильно походила на Пашку, своего сына, темными глазами стрельнула в горничку, где, пьяно распластавшись на горбатом полу, с посвистом хра-

пел хозяин, потом, немного пристыженная, виновато оглядела кухонку с печкой, закопченной у чела, краснеющей щербатыми, отставшими у шестка кирпичами, с пузато отпученными стенами, где там и сям отвалилась штукатурка и в проплешинах оголилась ребрами мало-мало подбеленная дранка; казалось, даже стены, несмотря на июньский зной, темнели сырой плесенью, – впрочем, и не мудрено, потому что старая избенка, сложенная когда-то из краснобаевского амбара, оштукатуренная изнутри и снаружи, не проветривалась, не дышала, отчего быстро набухла сыростью, насквозь прогнила и скособочилась. Хотя, сколько себя Ванюшка помнил, она всегда и жила в плачевном виде. Дух гнилости и плесени перемешивался с застойным запахом детской мочи и непроветренных матрасов, на которых вповалку прямо на полу спало многочисленное семейство, лишь для родителей имелась широкая кровать, шишкатыми козырьками чуть не достающая до провисшего потолка. Полотняная зыбка, привешенная к матице, тихо покачивалась у самого пола – в ней ворочался грудной ребенок.

Мимолетно оглядев свое некорыстное жилье, Варуша вздохнула привычно, после чего сразу же обреченно успокоилась, виновато поглядывая на буфет, где за мутноватым стеклом одиноко и желтовато посвечивали граненые стаканы. От буфета к сырому углу тянулись густые тенёта – седая паутина, откуда, словно из далекой, тайной глубины, жалостливо смотрела на Варушину жизнь Божья Матерь; а надпись на картонной иконке молила: утоли мои печали...

– Тетя Варя, а Пашка где? – спросил Ванюша.

– Беда я знаю, – ответила хозяйка, оставаясь в своих думах или утешном бездумье. – Где-то по деревне палит. Пашке чо, наелся, напился и в бега... Я попозже занесу миску-то, а? – похоже, она гадала, какой бы такой гостинец положить хоть на дно миски, как и требует того обычай. – Или Викторка наша потом занесет?

– Не-е, мама велела сразу принести.

– Да-да, праздник у вас, все плошки-ложки на счету. Ну, да ладно, – она опять вздохнула и стала раскуривать желтоватый папиросный окурочек, достав его из печурки. – Матери скажи, я к ней под вечер забегу. Может, помочь чего надо... Ну, глянулась тебе молодуха, тетя Малина-то? – улыбнулась Варуша, сквозь дым прищуристом глядя на Ванюшку.

Парнишка неожиданно покраснел и тихонечко, но твердо сказал:

– А меня в город с собой возьмут. Тетя Малина посулилась.

– Но?... Совсем или погостить?

– Погощу, а ежели понравится, дак и останусь.

– Ой, девки, беда. Дак знатца ты теперечи у нас городской будешь, не то что мы, деревня битая.

– Я там в цирк пойду, а в цирке обезьяны всякие, даже коровы на задних ногах ходят.

– Ох ты господи, чего, нехристи, измыслили!.. Ты, парень, там шибко не загашивай, мать не бросай. Кто ей помогать будет?!

– Да ну, надоело мне в деревне, – по-взрослому, видимо, наслушавшись отца с Алексеем, рассудил Ванюшка. – Пускай Танька с Веркой помогают, а я поехал.

И тут в избу с гомоном залетели Пашка и Сашка-сохатый, потом, стараясь не отстать от них, тяжело перевалили через порог Сergyа с Петухом. У всех голые ноги были чуть не по колено в грязи, которая уже засохла и отваливалась шматками, и можно было удивляться: где они в такую сушь надыбали лужу. Почему-то сёмкинские ребяташки – да, впрочем, и другие степноозерские – любили повозиться в лужах; и никакая простуда не брала, хотя месили грязь чуть не до самого Покрова, когда лужи схватывались первым тоненьким ледком. Сёмкины, случалось, и по снегу носились босиков, и тут, бывало, не чихнут, не кашляют, когда иные изваженные-изнеженные, которых кутали при малом ветерке, частенько хворали, простывая даже в начальный зазимок.

Залетев в избу, ребяташки уставились зарными глазами на стол, где горкой были выложены шаньги; Пашка тут же, долго не думая, хват румяную, следом потянулся Саха-сохатый, но не поспел – мать садко шлепнула ладонью по его грязной, цыпошной руке.

– А ты спросил: можно, нельзя ли?

– Ага, Пахе можно, а мне нельзя, – огрызнулся парнишка, дуя на покрасневшую руку.

Возле него испуганно замерли Петух с Серьгой, поедая глазенками шаньги.

– Ишь, налетели, архаровцы, – Варуша горестно оглядела свой чумазый выводок. – Вон отец-то проснется, он вам пошумит... Ладно уж, возьмите по одной, и чтоб глаза мои вас не видели. А ты Пашка к Ваньке припарись, да щепок с пилорама натаскайте, а то уж все дрова сожгли.

– Ванька! – схватив под шумок вторую шаньгу, радостно заревел Пашка. – Айда с нами на болото. Мы там в войнушку играем – ловко так. Раднаха там, Маркен!

– Я те поору, я те поору! – прошипела мать, схватила сковородник и хотела вытянуть по Пашкиной хребтине, но промахнулась.

Пашка выгнул узкую спину и с гоготом выпрыгнул в сени.

– Пошли, Ванька, на болото, – позвал он уже из ограды. – За нас будешь, за красных. У нас там сабли, щиты – стражаться будем. И Маркен за нас, – прибавил он для пущего соблазна.

Ванюшка замотал головой, отказываясь, и тут же не удержался, прихвастнул:

– А я в город еду. С браткой.

Ребята уставились на хвастуна, натужно перемалывая в головах дивную весть. Потом Сохатый запрыгал то на одной, то на другой ноге, задрался, успевая при этом откусывать от шаньги:

Вруша по воду ходил,
Решетом воду носил!
Помелом в избе метал,
Медведя за уши держал.

– Не веришь, да, не веришь?! – наскочил на него Ванюшка, сжимая кулачки. – Пойди, у братки спроси.

– Ваня, Ваня, гыр, гыр, мяса нету, один жир, – отскочив к вечно отпахнутой, слетевшей с одной петли калитке, Сохатый высунул длинный язык. – Бя-а-а! Не возьмут, не возьмут!

Ванюшка бросился к нему с криком:

– Возьмут меня, возьмут, понял, сопатый!..

Домой он, разозленный Сохатым, прибежал бегом, но опять побоялся спросить у брата или молодухи про город, и в тревоге, в сомнениях промаялся весь остаток дня. Лишь к вечеру, бочком, робея, подсунулся к брату, сидящему в обнимочку с тетей Малиной на той лавке, где недавно обсуждал с отцом будущую свадьбу. Брат, кое-как поняв, о чем толкует малой, хотел было промолчать, зевнул, уставился глазами в край улицы, где алое закатное небо сливалось с таким же алым озером, но тетя Малина ласково заверила:

– Конечно возьмем, раз обещали.

Брат вопрошающе покосился на нее.

– Возьмем, возьмем, не переживай, – она с улыбкой на ядреных губах, заглядывая в глубь Ванюшкиных глаз светяще-темным, потайным взглядом, взъерошила его чубчик, а когда Ванюшка стеснительно потупился, исподтишка мигнула Алексею. – У меня там двоюродная сестренка, Руфа звать, я вас познакомлю, будешь ухаживать за ней, ты же кавалер. А вообще... – она задумчиво прищурилась, – вообще-то, Лёша, давай возьмем. Жалко парнишку, пусть хоть город посмотрит, поживет по-человечески. А то по деревне только бегает... Побудет у нас с месяц, а потом к маме на дачу отвезем.

– Там видно будет, – закуривая, отозвался брат. – Чего раньше времени загадывать. Будем собираться, тогда и решим.

– Не слушай его, Ваня, не слушай. Я сказала, возьмем, значит, возьмем. Только надо себя хорошо вести... Ух ты, толстоморденький, хомячок! – Она обеими руками потрясла Ванюшку за пухлые щеки и, притянув к себе, игриво, с причмоком поцеловала, отчего Ванюшка пошел во двор как очумелый.

Часть третья

I

В день приезда молодых, когда он, волнуясь, путаясь в гачах, краснея от стеснения и натуги, все же примерил брюки, сандалии и белую рубашонку, мать тут же велела все снять, и, когда он неохотно стянул с себя обнову, сразу же упрятала ее в сундук, окованный узористым железом, который стоял в горнице между двумя кроватями, покрытый ярким домотканым ковриком. Убрала да еще погрозила пальцем: дескать, боже упаси без спроса взять. Танька, которой привезли лишь портфель – будто в насмешку, потому что осталась на второй год в первом классе – со слезами на глазах смотрела, как брат пялил на себя черненькие брючки, а когда мать отобрала их и закрыла в сундуке, наказав, чтоб даже пальцем не касался, злорадно хихикнула. Может, оттого, что гостинец ей не пришелся по душе и молодуха приветила мимоходом, обласкивая младшего братишку, предсвадебные дни Танька дома и глаз не казала, днюя и ночуя у своих подружек: то у Викторки Сёмкиной, то у Будаевой Даримки. Мать сначала отправляла за ней Ванюшку и, обзывая бездомкой, шатуньей, заставляла помогать по хозяйству, но потом в суете забывала и вспоминала, когда в бочке кончалась вода. А тут Хитрый Митрий, удивив Краснобаевых, по просьбе Алексея навозил им на мотоцикле целых три бочки, и вода долой с Танькиных плеч.

Молодуха не глянулась Таньке, и она заглазно дразнивала ее, прохаживаясь по Сёмкиной ограде, накручивая тощими боками, – вроде подражая молодухе, – и, собрав губы в куриную гузку, хитровато прищутив глаза, лепетала с присвистом: «Если хочес сладко кусать, надо папу с мамой слушать... Если будес холосё себя вести, то поедес с нами в голод...» Танькины подружки, Викторка с Даримой, со смеху катались по ограде: дескать, ну и артистка... с погорелого театра.

Были гостинцы и меньшей Ванюшкиной сестре Верке, но та с начала лета гостила у тетки в соседней деревне Погромке, и свадьба прошумела без нее. Отцу же молодые привезли фетровую шляпу, матери клетчатую юбку с ремешком и фигуристой бляшкой. Отец лишь покопился на шляпу, выложенную на стол, крикнул, и было непонятно, как он относится к подарку; впрочем, оставшись в горнице наедине со шляпой, примерил ее, повертел на голове и так, и эдак, глядясь в зеркало над комодом.

– И чудно, и нудно, – ворчливо сплюнул он. – Как седелка на корове... Но, может, сгодится... – на гнездо, клоктухе яйца парить, цыплят высиживать.

Мать же долго щупала кургузыми пальцами юбку, смотрела ее на свет, прицокивая языком, а потом сказала:

– Ну, спасибо, Марусенька, дай тебе бог здоровьица. Брава юбка. Танька подрастет, дак и сносит.

– Да вы что, мама, носите сами, – велела молодуха. – У меня вон мама в театр вырядится, так совсем как молодая. По улице идет, даже парни оглядываются. А ведь ей тоже под пятьдесят... – Марина с прохладной жалью глянула на будущую свекровку, до срока выжатую, сморенную ребятишками и военным лихом. – Никаких Танек, надевайте и носите сами.

– Ой, девча, куды мне ее теперичи одевать?! Корову доить, разве что. Дак испужатся – молоко пропадет, а то ишо и не признает да лягнет. А брюки-то, Марусенька, почем?

Молодуха досадливо отмахнулась:

– Это не важно... Знакомая одна подкинула. У нас девочка ее лечилась, а сама в универмаге в детском отделе стоит. Перед отъездом захожу, увидела меня, радостная такая, спасибо вам, говорит, спасибо: дочка теперь поправилась, не жалуется. Ну, вот она мне эти брюки и

принесла из подсобки... дефицит... – сейчас и потом, боясь, что мать по деревенской темени чего-то не поймет или поймет не так, старательно растолковывала, говорила четко, громко, будто мать глухая тетеря, хотя та, слава богу, слышала на оба уха справно. – А я пообещала ее рыбкой угостить. Так что, Ваня, лови... Славные брюки... немецкие... Наши так не умеют... Сносу им не будет.

– О-ой, ему хошь советски, хошь немецки, всё как на огне горит. Шкеры чинить не успеваю, мигом продерет. Не бережет ничо... Чего губы-то отквасил, мазаюшко?.. Не нравится?.. – она глянула на Ванюшку, который как прилип к сундуку, так и не отлеплялся. – Осердился, ишь губы надул. – Она опять обернулась к молодухе: – Почем они, говоришь, Марусенька?

Молодуха скривила губастый рот – не по нраву, что ее, Марину, обзывают на деревенский лад Марусей, а мать, чуя это, еще нарошно, походя да погромче кликала и кликала ее: Маруся да Маруся.

– Ну, мама, что за разговоры. Это подарок Ване. А хорошо себя будет вести, мы ему еще и не то привезем. Настоящий костюм, как у взрослых... Хочешь?.. Да-а, может, пусть сегодня походит в брюках до вечера, перед ребятами похвастает, а потом уберем? – спросила молодуха у свекровки, перехватив жалобный Ванюшкин взгляд.

Молодуха говорила легко, складно, будто читала на сто рядов читанный-перечитанный Талмуд; спрашивала и отвечала по-свойски доверчиво, как если бы не только что сошла с автобуса, поднялась в избу и перецеловалась с домочадцами, а жила тут вечно, лишь на месяц-другой отлучалась в город, где и набралась тамошнего форса, приделась, научилась беспрестанно казать улыбку, при этом хороня глаза в темном холодке.

– О-ой!.. – Мать замахала руками, испуганно округлив глаза. – Да ты чо, Марусенька, он же эти штанишонки ходом в грязи извозит. Это давно ли майчонку одел, а уж чернее сажи. Ну-ка, иди сними да одень другую, не позорь меня перед гостями. Эти брюки ему будут как раз на один день, вечером уж не признашь. Не-е, пусть уж лучше полежат пока... Беда с ним, такая, прости, Господи, простофиля... Уродился же чудечко на блюдечке... Как будет жить, ума не приложу. Старшие-то все удалые росли, семь дырок на одном месте провертят, а этот даже и не знай в кого. Разве что в брата моего, Ивана. Тот ему крёстный. На кордоне лесничит. Тоже непутевый... Ванюшка у меня поздонушка, отхончик.

– Это как понять? – улыбнулась молодуха.

– Последний парень. Маленький-то задохлик был, замористый такой, а счас ничо, выправляться стал. К ребятишкам припарился. Да тоже беда, вечно куда-нибудь залезет, всю одежку испластат, а то еще и наколотят соседские парнишки.

II

В горнице плавал и переливался тихий закатный свет, и на стене напротив окна пятнами млела, чуть приметно колыхалась тень от фикусовых листьев. Мать и гостя сидели за круглым столом, покрытым тяжелой, вишневого цвета плюшевой скатертью, и судачили, как могут судачить бабы, когда им выпадет редкий час на это, перебирая степенно всё, что подвернется на язык; так мать иной раз под вечер, когда не случится дома отца и вроде все дела на сегодня переделаны, чаевничала со своей подружкой Варушей Сёмкиной, сумерничала, разводя в мягко темнеющей избе долгие бабы пересуды, перебивая косточки соседские, обсуждая с жалостью чьи-то изломанные судьбы, отчего свои, какими бы тяжелыми не были, казались легче. Невестка, хоть и молодая, городская, умело, почти по-деревенски цепляя слово за слово, плела тянучий разговор, для которого ей и матери не хватало только лиственничной серы, чтобы между словами жевать ее, вкусно, с лихим подсосом прищелкивая, или не хватало папироски, какую мать, как она сама выражалась, портила за компанию с Варушей, и, наконец, не помешал бы и горячий самовар и полные чашки свежесваренного, забеленного

козьим молоком крепкого чая. За разговором молодуха неприметно выпытала и про здешнюю жизнь, и про соседей, и про снабжение и цены, и даже про то, много ли свекор получает, торгуя керосином, и какой доход идет от рыбы, которую отец, засоленную в бочках, переправлял с шоферами в город. Мать только диву давалась: экая боевая, языкастая да головастая попалась невестка, вся в тятю своего, Исаю Самуилыча; но тут же и подозрительно оглядывала ее смуглую, холеную красу, косилась и вроде приговаривала про себя: ой, однако, девушка, ты, гляжу, и без мыла в душу влезешь и ножки свесишь. Но, увязая в тугой и теплой паутине разговора, тая в мягком взгляде больших, сумеречных глаз, мать забывала о своем подозрении, потом вспоминала и снова забывала, убаюканная плавным, нездешним говорком, и вдруг опять спохватывалась – за мягкой обличкой таилось в молодухе прохладное, по-рыбьи ускользающее, что и не ухватить сразу. Она между делом бегло, но цепко осмотрела небольшую – корова ляжет и хвост некуда протянуть – темную горницу, скосилась в куть. Изба лишь с улицы гляделась просторной, внутри же большую волю отхватила кухня с курятником, с широкой лавкой, с буфетом во весь красный угол, где посвечивали иконы, а полизбы к тому же забрала матушка-печь, так что для горницы и для запечного кутка и осталось-то всего ничего.

– Нам эта изба еще от свёкра досталась, – пояснила мать. – Да не изба – амбар, где зерно в закромах припасали, а на лето овчины вешали. Это уж Петр венца три нарастил да кухню прирубил.

– А куда дом девали, где жили родители Петра Каллистратовича?

– А никуда не дели, там давно уже Шлыковы живут. Когда свёкра, Царство ему Небесно, кулачили, дом деду Шлыкову и отошел. Тот смолоду ничо путем не делал, с ружьишком по тайге да на пече лежал, вот в бедняки и угодил. Избу ему и вырешили... Да ты его, Марусенька, видала – вечно на лавочке сидит... Как кулачить стали, ой, девонька, такие тут страсти-ужасти пошли, помилуй, Господи! – мать торопливо перекрестилась на иконы, что виднелись из кухни. – Как нагрянули раскулачники – у нас их анчихристами звали, фармазонами, – да с имя и наши варнаки-бедняки, тоже хриstopродавцы ишо те... Как стали батюшку вместе с мамушкой из избы выгнуривать, так батюшка и заупирался. А перед тем нажитое добро почли переписывать и таскать в телегу. Шаль свекрухину и поперли, и даже самовар... Но батюшка – горячий был, Царство ему Небесно, – за топор схватился. Но те фармазоны долго не чикались, скрутили, дали под микитки да на мороз всех и выпихнули. Даже и оболочкись путем не дали... О-ой, сколь пережили, страх божий поминать...

– Кошмар! – молодуха горестно покачала головой и прибавила зло: – Все этот изверг усатый, Сталин...

– Не-е, девонька, это они за его спиной шарамыжничали... фармазоны всякие. Земля большая, куды там Сталину все углядеть... Сталина-то мы, что отца родного почитали... Я уж со вторым дохаживала, с Егором... Батюшка вскорости от такого лиха отдал богу душу, вот нашу семью на высылки и не послали. Тогда нам да вот Сёмкиным амбары и достались. Да и на том спасибо, а то бы и отца нашего на высылку турнули вместе с дедом... А кулачил-то мужиков дедушка ваш, Самуил... – мать пристально глянула на молодуху, но та выказала безразличный вид, потом, отмахнув над крупным носом смоляную бровь, стала присматриваться к тяжелой матице – обхватистому бревну, которое держало потолок, а по середине матицы сиротливо свисало кольцо для детской зыбки. В зыбке той, растолковала мать, выкачалось, вынянчилось восемь ребят, да и жених ее, Алексей, и Ванюшка, деверь-деверёчек. Уж лет пять как отдали полотняную зыбку в сёмкинский дом, а для матери и по сию пору слышалось и навевающее дрему, и тревожащее сердце поскрипывание веревок раскаченной, будто на весь материн век, незримой в ночной темени полотняной зыбки; слышался и приглушенный, но все же явственный плач из нее: видимо, родимые звуки, – переполнив горницу за долгие бессонные ночи, когда мать не смыкала глаз над захворавшим чадом, – эти плачи и зовы впитались в лиственничные венцы вместе с материнскими молитвами; впитались, затаились в тенистых,

сыреющих пазах, и когда в избу стала потихоньку навеиваться старческая тишь, звуки начали дышать из стен, напоминая тому же Алексею или Ванюшке о неоплатном долге перед матерью, перед избой.

Быстро оглядев матицу, потолок, молодуха утихомирила взгляд на разлапистом фикусе, растущем из синё крашенной кадучки³³ и пыльной кроной застившем свет из окна, и, наверно, подумала привычное: красивое-то красивое дерево, да больно уж хлопотно с листьев пыль вытирать. Подивилась, что по углам из тяжелых, застекленных рам равнодушно и сыто взирали Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Перехватив молодухин взгляд, мать пояснила:

– Изба-читальня у нас погорела. Всем селом пожар тушили. Отец и приволок оттуль. Он же у нас партийный был... Думала, может, в клуб отдать, дак не велит. Дескать, тот же инспектор по налогам зайдет скота описывать, я его сразу в избу. Глянет он на портреты да, глядишь, и не станет шибко кочевряжиться, в стаюшке нос совать. На слово поверит...

– Конечно, надо было их куда-нибудь в школу отдать, – рассудила молодуха, – а тут красивые картины повесить...

В избу с шумом ввалился отец и, заглянув в горницу, сердито приказал:

– Этого балабола из избы не выпускайте, – он кивнул головой на Ванюшку.

– Чего случилось-то? – всполошилась мать.

– Чего, чего?! Идет... упал намоченный...

– Куды упал?

– Уполномоченный... инспектор по налогам идет, скот описывает. К Шлыковым подвернул. Но те-то, конечно, успели: корову оставили, а тёлок с бурунами в тайгу, на заимку угнали... Мы сейчас с Алексеем коз в баню закроем, а вы этого в ограду не пускайте, а то язык-то у него долгий, опять проболтнет. Потом плати.

Когда отец вышел, молодуха вопросительно уставилась на мать, и та с улыбкой вспомнила:

– Прошлым летом инспектор к нам зашел, а мы заранее прочухали о нем и двух телков прикрыли в бане. Инспектор... или уполномоченный какой... переписал корову, поросенка, курей, а потом давай выведывать: дескать, у вас же телята вроде были? А Ваня наш возьми да и сболтни: мы их, говорит, в баню под полук засунули. Чо с его, девонька, возьмешь?! Умишка ишо мало... От отец разорился...

Глаза молодухи быстро скользнули по выжелтевшим, застиранным вышивкам, прибитым над койками: на вышивке гладью сидела у камышевой речки сестрица Аленушка, и нежно терся о ее колени белый козленок – стало быть, братец Иванушка, заколдованный Ягой – костяной ногой; а на вышивке крестиком миловались на чудо-древо две диковинные птицы с яркогубыми человеческими лицами, у одной из перьев высывались настырные девьи груди. Рядом с вышивками красовались узорно выпиленные рамочки с домашними фотографиями. Там среди выжелтевших карточек свежо и нарядно посвечивало армейское фото Алексея, снятого в парадной форме с крылистыми погонами и автоматом в руках. Молодуха порывисто встала из-за стола, подошла ближе, взгляделась в карточку, и глаза ее азартно взблеснули, на губах заиграла счастливая улыбка – красовитый парень, кровь с молоком. Карточка, втиснутая под рамку поверх стекла, гляделась чужеродно среди темных, забородатевших лиц, среди девок и баб, гладко причесанных, уложивших косы венчиком и, видимо, боясь моргнуть, выпучивших глаза; среди старух в семейских староверческих кокошниках, цветастых сарафанах, с янтарными королями на шеях, и даже среди ребятишек в пузыристых шкерах, стриженных наголо, подсаженных на завалинку, на лавки, табуретки, – за спинами лучисто теплеют избяные венцы, а в глазах ребятишек вековечное ожидание дивной пичужки, которая так и не вылетела из аппарата... а жизнь пролетела. Трех чад мать похоронила, и остались от них лишь эти линияые

³³ Кадка, кадучка – деревянный бочонок.

карточки да смутное материно переживание: вроде и вина, какую мать глушила в себе законным оправданием, – хворые родились, не жильцы на белом маятном свете, вот и прибрал Господь, чтоб не мучились, и поселил их ангельские души в холе и неге подле Своего Престола.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.